

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

1964





©



день поэзии

**советский
писатель
москва**

196

4

В СБОРНИКЕ «ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1964» УЧАСТВУЮТ:

А

Агашина М. (44)
 Азаров В. (157)
 Аким Я. (71)
 Алдан-Семенов А. (100)
 Алигер М. (149)
 Асадов Э. (103)
 Асанов Н. (67)
 Асеев Н. (148)
 Афанасьев В. (65)
 Ахматова А. (61)

Б

Балин А. (72)
 Барто А. (50, 115)
 Баруздин С. (130)
 Безыменский А. (31)
 Белинский Я. (62)
 Беляев М. (55)
 Благоев Ю. (49)
 Богданов П. (81)
 Боков В. (24)
 Бунии И. (166)
 Букив Н. (153)
 Бушко О. (23)

В

Ваншенкин К. (20, 118)
 Васильев П. (158)
 Васильев С. (33)
 Викулов С. (85)
 Владимов М. (47)
 Волгин И. (58)
 Волобуева И. (53)
 Вышеславский Л. (36)

Г

Гатов А. (72)
 Глазов Г. (59)
 Годенко М. (64)
 Голубков Д. (51)
 Гордиенко Ю. (81)
 Грачев О. (89)
 Грпбачев Н. (14)
 Григорьев В. (141)
 Гринберг И. (137)
 Грудев И. (101)

Д

Дементьев В. (41, 138)
 Демин М. (64)
 Дмитриев О. (97)
 Дрофенко С. (95)
 Друнина Ю. (23, 111)
 Дудин М. (30)
 Дымшиц А. (127)

Е

Ермаков В. (21)

Ж

Жигулин А. (71)
 Жуков В. (41)

З

Завальнюк Л. (91)
 Законов И. (98)
 Заурих А. (63)
 Звягинцева В. (88)
 Заяц А. (94, 131)

И

Инбер В. (15)
 Иодковский Э. (99)
 Искандер Ф. (53)

К

Карпеко В. (24)
 Кафанов А. (59)
 Ковалев Д. (95)
 Коваленков А. (42, 125)
 Коваль-Волков А. (56)
 Козловский Я. (67)
 Козырь Л. (80)
 Колычев О. (74)
 Константинов Е. (66)
 Котов В. (36)
 Кудрейко А. (19)
 Кузнецова С. (92)
 Кузовлева Т. (101)
 Кулагин В. (67)
 Куликов Б. (93)

Л

Левин Г. (63)
 Левин Л. (134)
 Левин Р. (69)
 Лесин А. (40)
 Липкин С. (72)
 Лисьянская И. (68)
 Лисянский М. (54)
 Лифшиц В. (48, 73)
 Лобанов М. (119)
 Лобода В. (155)
 Люкин А. (66)
 Люшин Г. (70)
 Львов М. (35, 111)

М

Мазур Т. (170)
 Марков А. (35, 118)
 Мартынов Л. (13)
 Машинский С. (133)
 Михайлов А. (113)
 Мозольков Е. (129)
 Моран Р. (96)
 Мотяшов И. (116)

Н

Нагаев Д. (102)
 Напельбаум Л. (161)
 Наумов Ю. (69)
 Невельский З. (146)
 Николаева Г. (151)
 Николаевская Е. (63)
 Николукин И. (101)

О

Оганов Г. (112)
 Одинцов Д. (147)
 Озеров Л. (26)
 Ойслендер А. (154)
 Орлов С. (27)
 Осетров Е. (117)
 Ошанни Л. (37)

П

Панкратов Ю. (89)
 Панченко П. (77)
 Паперный З. (113)
 Пастернак Б. (160)
 Паттерсон Д. (74)
 Поделков С. (21)
 Поликарпов С. (25)
 Полторацкий В. (115)
 Полухин Ю. (102)
 Понов Л. (92)
 Прокофьев А. (12)

Р

Раскин А. (78)
 Регистан Г. (84)
 Родичев Н. (142)
 Рождественский Р. (17)
 Рохович А. (148)
 Румянцева М. (73)
 Рыленков Н. (16)

С

Савельев М. (100)
 Савиннов Е. (60)
 Саенко Ю. (158)
 Светлов М. (28)
 Светов Ф. (135)
 Сельвинский И. (43)
 Семенов В. (96)
 Семернин В. (93)
 Сибиряков Б. (56)
 Сидоренко Н. (57)
 Сикорский В. (95)
 Сиянцын Ю. (90)
 Скуратов М. (77)
 Слуцкий Б. (20)
 Смирнов Л. (82)
 Смирнов Н. (166)
 Смирнов С. (46)
 Снегова И. (39)
 Соболев М. (75)
 Соколов В. (27)
 Софронов А. (29)

Т

Старшинов Н. (39)
 Степанов В. (45)
 Степанов Н. (122)
 Строганов И. (76)
 Субботин В. (155)

Талов М. (60)
 Тараховская Е. (68)
 Тарковский А. (83)
 Татаринцов В. (79)
 Татьяничева Л. (40)
 Терентьева М. (71)
 Терещенко Д. (100)
 Тихонов Н. (15)
 Трегуб С. (110)
 Тур В. (75)
 Туркин В. (42)
 Тушнова В. (26)

Урин В. (104)
 Ушаков Н. (19)

У Ф

Федоров В. (17, 110)
 Флёров Н. (62)
 Флоров Г. (90)
 Фоккина О. (74)
 Фонская С. И. (162)
 Френкель И. (31)

Харабаров И. (83)
 Хелемский Я. (38)
 Хмара П. (49)

Чернов Ю. (51)
 Чернышев М. (85)
 Чуев Ф. (58)

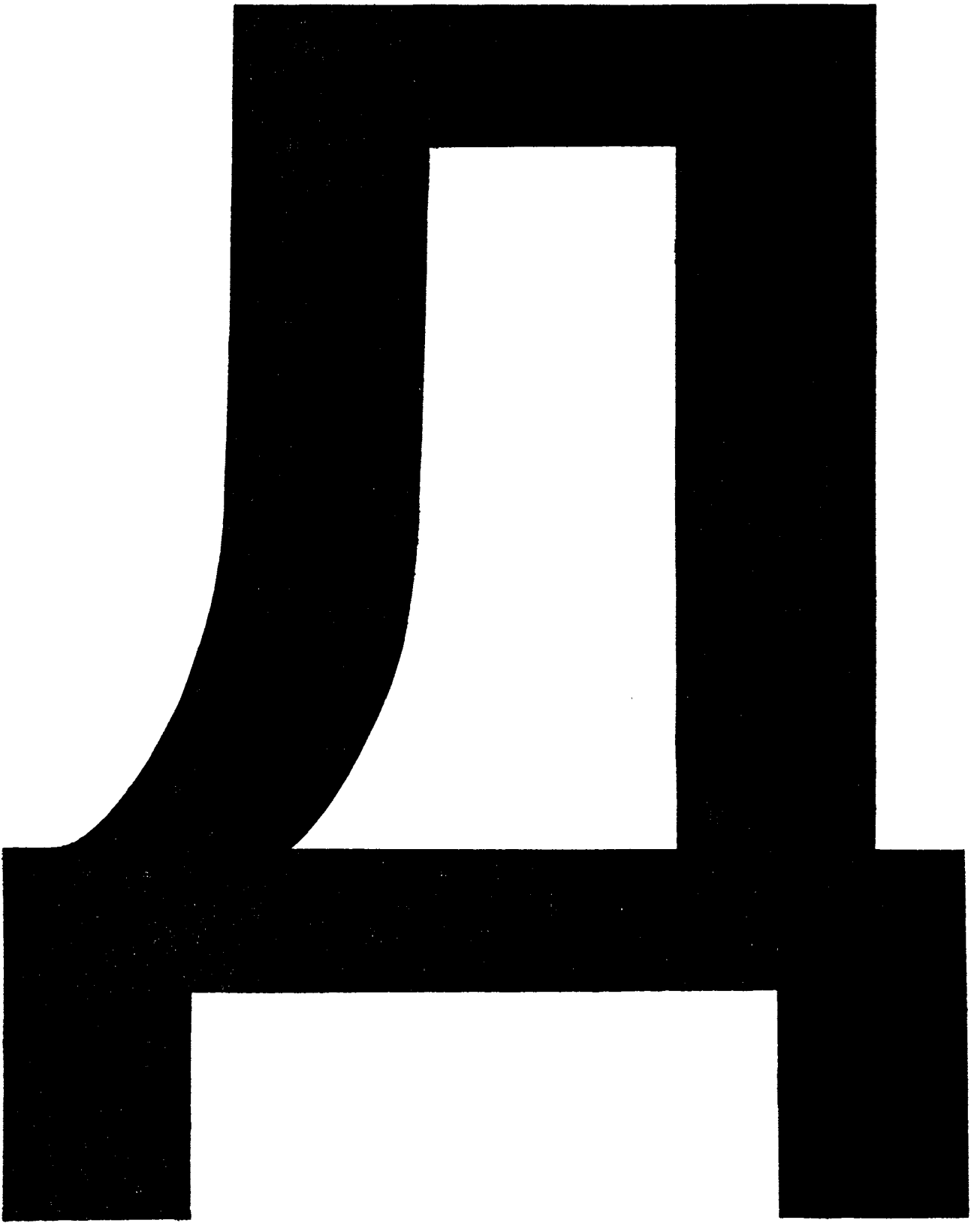
Х Ч

Шавырин Ю. (52)
 Шаламов В. (62)
 Шаховский Б. (54)
 Шнедов Я. (22)
 Шехтер М. (158)
 Ширман Е. (161)

Щипачев С. (15)

Щ Я

Якушев Н. (86)
 Январев Эм. (80)
 Яшин А. (16)





ень поэзии

1964

Р 2
Д 84

Оформление книги художников Аркадия Троянкера, Василия Валерюса

Главный редактор Виктор Полторацкий

Редколлегия:

**Валерий Дементьев,
Юлия Друнина,
Владимир Карпеко (составитель),
Сергей Поделков,
Ярослав Смеляков,
Сергей Смирнов,
Василий Субботин,
Семен Трегуб,
Владимир Туркин,
Василий Федоров,
Илья Френкель,
Яков Хелемский.**

THE



ОВОЕ

А. Прокофьев Л. Мартынов Н. Грибачев
С. Щипачев Н. Тихонов В. Инбер
Н. Рыленков А. Яшин В. Федоров
Р. Рождественский Н. Ушаков А. Кудрейко
Б. Слуцкий К. Ваншенкин В. Ермаков
С. Поделков Я. Шведов Ю. Друнина
О. Бушко В. Карпеко В. Боков
С. Полкарпов Л. Озеров В. Тушнова
С. Орлов В. Соколов М. Светлов
А. Софронов М. Дудин И. Фрепкель
А. Безыменский С. Васильев А. Марков
М. Львов Л. Вышеславский В. Котов
Л. Ошанин Я. Хелемский И. Снегова
Н. Старшинов А. Лесин Л. Татьяничева
В. Жуков В. Дементьев В. Туркин
А. Коваленков И. Сельвинский М. Агашина
В. Степанов С. Смирнов М. Владымов
В. Лифшиц П. Хмара Ю. Благов
А. Барто Ю. Чернов Д. Голубков
Ю. Шавырин Ф. Искандер И. Волобуева
Б. Шаховский М. Лиснянский М. Беллев
А. Коваль-Волков Б. Сибиряков
Н. Сидоренко И. Волгин Ф. Чуев
А. Кафанов Г. Глазов Е. Савинов
М. Талов А. Ахматова Я. Белинский
В. Шаламов Н. Флёров А. Заурих
Г. Левин Е. Николаевская М. Годенко
М. Демин В. Афанасьев Е. Константинов
А. Люкин В. Кулагин Н. Асанов
Я. Козловский Е. Тараховская
И. Лиснянская Ю. Наумов Р. Ленин
Г. Люшин М. Терентьева Я. Аким
А. Жигулин А. Балин А. Гатов
С. Липкин М. Румянцева В. Лифшиц
О. Фокина О. Колычев Д. Паттерсон
В. Тур М. Соболев И. Строганов
П. Панченко М. Скуратов А. Раскин
В. Татаринов Э. Январев Л. Козырь
П. Богданов Ю. Гордиенко Л. Смирнов
И. Харабаров А. Тарковский Г. Регистай
М. Чернышев С. Вижудов Н. Якушев
В. Звягинцева Ю. Панкратов О. Грачев
Ю. Сницын Г. Флоров Л. Завальнюк
С. Кузнецова Л. Попов Б. Куликов
В. Семернин А. Зяц В. Сикорский
С. Дрофенко Д. Ковалев В. Семенов
Р. Моран О. Дмитриев И. Законов
Э. Иодковский М. Савельев
А. Алдан-Семенов Д. Терещенко
И. Николукян Т. Кузовлева И. Грудев
Ю. Полухин Д. Нагаев Э. Асадов В. Урив

Хлеб

На столе простом
Хлеб
С капустным листом,
С угольком на исподе.
Мы с него глаз не сводим,
Десять душ,
Десять душ.
Мама, рушь,
Мама, рушь!
Мама, режь
Поскорей
На сынов и дочерей.
Режь, режь
Много раз,
Это просьба
Наших глаз.
Дай мне с угольком,
С тем погасшим огоньком!
Мама, рушь,
Мама, режь,
Мамушка,
Сама поешь!

Солнце

То, что я увидел,—
О том пою.
Я увидел: солнце
Идет в гаю.

Правобережьем речным
И в воде заплесной,
Словно сломанные им,
Отражались весла.

Шло тропинкою лесной,
И не позолотой,
А златой своей казной
Сыпало без счета.

Нет, не сыпало,
Бросало
В белые кувшинки,
Где вилась и где плясала
Речка Вертушинка.

Речка Вертушинка
Или Камышинка,
Не улыбка на устах,
А скорей смешинка!

Солнце шло по просеке,
По лучу,
Говорит:
— Попробуйте,
Все озолочу!

Будет гай золотым,
Будет гай красным,
До вершин налитым
Ягодой ряеной!

Солнце, стой,
Солнце, стой!
Бей в бубен золотой,
Бей в бубен золотой!

Гора гористая

Гора гористая,
Под ней дубравушка,
А речка чистая
Лежит на камушках.

С какой крутой поры,
С ненастной осени
Они сползли с горы
Иль ветры сбросили?

Гора гористая,
Под ней дубравушка,
А речка чистая
Лежит на камушках.

Да не совсем лежит,
Переливается
И ко синю морю
Да пробивается.

И может, капелька
В нем этой речки есть,
А во синем море
Да кораблей не счесть!

Дитя времени

Я помню,
Как на Чудовке в подвале
Три скульптора торжественно сорвали
Со своего творенья покрывало.

Меня ужасно разочаровала
Весьма тяжеловесная фигура,
Как будто ранняя работа Мура.

— Реминисценция! — сказал я хмуро.—
Мне эта глыба не внушает веры.
Зачем все эти признаки пещеры —
Все эти толщи, выпуклости, дыры,—
Отчаянье, ползущее из трещин?
Нет, не такой вам мир, друзья, завещан!
Ведь мы-то с вами своротили горы,
В глубь вещества мы устремили взоры —
У нас уже другое ощущение
Земли, воды, и камня, и металла.
От жизни ваша статуя отстала!

И год прошел,
И зов ко мне донесся:
— Взгляните-ка, со статуей
что стало!

Да! Статуя такой же не осталась,
А, на меня взирающая косо
В сомнении, могу ль понять я это,
Вздымала руку, словно знак вопроса
И в то же время будто знак ответа.

Увидел я: ребенок — на ладони!
Он растопырил руки, как в полете,
Как будто ускользя от погони
Тяжеловесной каменистой плоти
И проволочных пут электросети.

Вот и поймите, что это за дети!
На них вы повнимательней взгляните:

Рожденные пока еще в граните,
Но явственно летящие!

Проблема

Была уже в моем воображенье
Разрешена. Не видел я ни шлема,
Ни всякого иного снаряженья,
Какого-нибудь там комбинезона,—
Но это было и весьма резонно:
Ведь лишь младенец, только что
рожденный,

Летел уже, летел, освобожденный,
Отвергший дико-каменную серость.
И не амурчик это был, не Эрос,
А человек, отвергнувший оковы.
Ни в Риме,
Ни на Кипре,
Ни на Крите —
Нигде еще не видели такого!

Не верите?
Подите посмотрите!

Пан

Давно
Окаменела Афродита,
До дырок износилась козья шкура,
Которой опоясывалась Греция,
Но хитрая догадка Демокрита,
Дойдя до римлян через Эпикура,
Воскресла в изложении Лукреция.

И плыл
Корабль среди Архипелага,
И донесли отчаянные крики
До мореходов с острова пустынного;
Сатиров безутешная ватага
Заголосила: «Умер Пан великий,
Скончаются все боги до единого!»

Но все-таки
Не все исчезли боги:
Есть терем на земле Замоскворечья,
Там под медвяным серпиком на убыли
Сам древний Пан, мохнатый, козлоногий,
Из полутьмы мечтателям навстречу
Дудит в дуду о милом друге Врубеле.

Николай рибачев

Мальчишки

Свистя,
 вопя,
 ушами шапок рея,
Играя с шалым ветром
 в поддавки,
Пронесется мальчишки угорело
На лыжах от села и до реки.

Носы красны,
 красны, как свекла, щеки,
Сыпучий снег
 дымком курится вслед.
Еще! еще!
 хоть дома ждут уроки.
Еще! еще!
 хоть кличут на обед.

А я когда-то
 вот в такую пору,
На лыжах не ходок
 и не ездок,
Глядел в глаза тоскующему полю
Через продутый на стекле глазок.

И ноги — словно лишняя обуза,
И хлеб с мякиной мускулам не впрок
И не было лаптей, чтобы обуться,
И зипуна,
 чтоб выйти за порог.

Мир темен, мал,
 его простор с овчину,
Он с горя пьет
 и с горя слезы льет,
И лишь отец читает при лучине,
Как мальчишки
 коньками
 режут лед.

Я в двадцать шесть
 впервой на лыжи встану,
Начну
 почти с гусяного шажка,

Так никогда
 и не постигнув тайну
Крутого с горки спуска
 и прыжка.

А в тридцать два,
 когда ко мне в соседство
Ворвется смерть из дыма и огня,
Пойму,
 как много в жизни значит детство,
Которое
 украли у меня —

Поправ Христа законы и заветы,
Не убоясь небесного суда,
Украли
 лондонские интервенты
И те, из Вашингтона,
 господа,

Те, что под высвист
 зимней завирухи
Босой,
 голодной,
 вздыбленной стране

Блокадами
 выкручивали руки
И вырезали звезды на спине.

Теперь они
 не в ту играют дудку,
У них закат,
 последний проблеск дня.
Так шпарьте, ребятишки,
 что есть духу,
Валяйте за себя
 и за меня!

Грядущего
 пилоты и поэты,
Меньшие
 из гагаринской родни,
Как в дальний рейс идущие
 ракеты,
Взлетайте
 с этой мартовской лыжни!

Щ

Степан
ИПАЧЕВ

Над страницами энциклопедии

За временем не угнаться.
Оно ракетами рвется вперед.
Мне вспомнился девятнадцатый,
за ним — и двадцатый год.

Недаром, недаром
листаю страницы не раз и не два.
В ту пору иным командармам
за двадцать перевалило едва.

То время историей стало,
осталось давно позади.
С петлиц Тухачевского алых
на нас не оно ли глядит?

О Блюхере думаю, сдвинув брови.
Геройством его гордится страна.

Т

Николай
ИХОНОВ

Под Ленинградом

Поля, холмы, лощины темно-синие
И перелески легкою волной,
Но через все — невидимая линия,
Неслышная — идет передо мной.

От Ладоги вы всю ее пройдете,
Она к заливу прямо приведет,
На старой карте вы ее найдете,
С пометкой грозной — сорок первый год.

Та линия еще сегодня дышит,
Она по сердцу вашему идет,
Она листву вот этих роц колышет
И в новый дом подчеркивает вход.

И

Вера
ИНБЕР

Читателю

Читатель мой! Не надобно бояться,
что я твой книжный шкаф обременю
посмертными томами (штук пятнадцать),
одетыми в пурпурную броню.

15

Все кажется,
пятнами крови
горят на груди у него
ордена.

Якиру, наверное, мнится
и мертвому: снова в поход на заре...
Легко ль перечитывать эти страницы,
на фотографии эти смотреть.

В простор зауральского края

Видать, подоспели сроки,
Урал натянул тетиву —
и брызнули стрелы-дороги
в неяркую синеву,
в простор зауральского края,
где ветер по сторонам
по соснам перебирает,
словно по звучным струнам.

Возможно, поколеньям близким
Не так, как будущим, она видна,
Хоть кое-где гранитным обелиском
И надписью отмечена она.

Но кажется: она еще дымитя
И молнии пронизывают мрак,
На ней — на этой огненной границе —
Отброшен был и остановлен враг.

Заговорила роща на откосе,
Прислушайся, о чем шумит она,
Как будто ветер, набежав, приносит
Бесчисленных героев имена!

Нет. Издана не пышно, не богато,
в обложке серовато-голубой,
то будет книжка малого формата,
чтоб можно было брать ее с собой.

Чтобы она внезапно возникала
в кармане делового пиджака,

чтобы ее из сумки извлекала
домохозяйки теплая рука.

Чтоб девочка в капроновых оборках
из-за нее бы не пошла на бал,
чтобы студент, забывший про пятерки,
ее во время лекции читал...

«Товарищ Инбер, — скажут педагоги, —
невероятно! Вас не разберешь.

Р Николай ЫЛЕНКОВ

Пока живу, захвачен вечной сменой
Возвратных дел и невозвратных дней,
Любовь к земле, как предков дар
бесценный,
Я бережно несу в душе моей.

Она в жару мне источает влагу,
В мороз теплом лучиться ей дано.
С ней вышел в путь и с ней в могилу лягу,
Как в борозду зерно.

Я Александр ШИН

Из дневника

Что я за человек?
Счастлив ли я? —
Не могу об этом не думать.

В темном зале кино,
если экран не кривое зеркало, —
я плачу.

Над книгой правдивой
плачу.

Над горем людским
плачу.

16 Мне тяжело, когда не могу помочь.

Вы фантазируете. И в итоге
дезинформируете молодежь!»

Я знаю — это непедагогично,
но знаю я и то, что сила строк
порою может заменить (частично)
веселый бал и вдумчивый урок.

Теченье дня частенько нарушая,
когда сама уйду в небытие,
живи подольше, книжка небольшая.
Не умирай, сокровище мое!

Не для того, чтоб нанизать на нить,
Начальный смысл мы ищем в каждом
слове.
Велит нам жито жаждой сева жить,
Рождает рожь святое чувство нови.

Летят лета, не погодят года,
А ты свое, как пахарь, дело делай,
Чтоб радовала радуга всегда,
Чтоб осеняла осень мыслью зрелой.

А за себя все-таки радуюсь:
значит, сердце мое не зачерствело,
душа у меня живая,
я — человек!
И когда сам пишу книгу
и совесть моя не спит
и, доходя до иступления,
я тоже плачу, —
гордости моей нет предела:
значит, есть и во мне искра божия,
не зря меня кормит народ
своим хлебом.

Но плачет ли кто-нибудь
пад моими книгами?
Счастлив ли я?..

Ф

Василий
едоров

От голготы младенческой
До гробового рва
У жизни человеческой
Есть разные слова.

Заговоришь ли с музами,
Коснешься ли судеб,—
Слова должны быть вкусными
И теплыми, как хлеб.

И чтоб в любви не гасли мы,
Чтоб не впадали в сонь,
Слова должны быть страстными,
Как пляшущий огонь.

Есть вялые, безвольные,
Есть омуты без дна,
А есть слова застольные
Для смеха и вина.

Зато в кровавой роздыми,
Когда врага не жаль,
Слова должны быть острыми
И крепкими как сталь.

Что такое костер?
Я отвечу вам просто и прямо:
Без огня
Это куча отжившего хлама.
Это тлен тальника,
Что подмыло весной,
Это стебель цветка,
Отпылавшего в зное.
Это дуба листья,
Что висят до мороза,
И виток бересты
Отшумевшей березы.
И пенечек с трухой,
Что неспешно затлеет,

И подсолнух сухой
С перекрученной шеей.
То, что взгляду далось,
Было в сумерки взято.
На костре собралось
Все, что жило когда-то...

Что такое костер?
Это добрый высокий огонь.
Протяни к нему руки,
Обнявши ладонью ладонь,
И присядь,
И побудь,
Чтобы вдоволь погреться.
Грейся, но не забудь
Ты к огню приглядеться.
Если б не было тьмы,
То увидел бы проще:
Дым похож на дымы
Зеленеющей роши.
Легкий дым уже густ,
И над ним, как бывало,
Вспыхнет розовый куст
Тальника-краснотала.
А потом из дымка,
Что опять озарится,
Алый выплеск цветка
Над костром повторится.
Закурчавится дым,
Закружится, завьется...
Вдруг подсолнух над ним
Зацветет, засмеется,
Постоит, подождет
Солнце, спящее где-то,
И опять упадет,
Не дождавшись рассвета.

Что такое костер,
Осветивший ночные кусты?
Это час воскресенья
Былой красоты.

Р

Роберт
ождественский

Планета друзей

А вам не услышать,
как холодно
звякают
листья.

А вам не увидеть
дрожание каменных веток...
Я это пишу слишком близко от вас.
Очень близко.
И все ж таки
так далеко,
как с другой планеты.

На этой планете
 себе я не доверяю.
 Смеюсь над собой,—
 и никак не кончается это!
 Я голос
 теряю.
 Я чьи-то пути
 повторяю.
 И вижу:
 проходит мимо
 ваша планета.
 Она появляется —
 чудо мое зоровое!
 Глаза заполняет,
 величием дышит крамольным.
 Она проплывает
 в густом
 голубом ореоле —
 пропитая солнцем,
 продутая ветром,
 пропахшая морем.
 На этой планете,
 на этой планете вашей
 гудят поезда,
 громыхая бессонно,
 бессвязно.
 Тяжелые стрепеты
 пыльными крыльями машут.
 У тихих селений
 стоят умудренные вязы.
 Я знаю:
 на вашей планете проходит лето.
 Ночная река
 источает целебный холод.
 Проходит лето.
 Проходят ссоры.
 Друзья
 проходят.
 Проходит мимо,
 проходит мимо
 ваша
 планета.
 И я поднимаюсь,
 и я подчиняюсь
 крику!
 И в собственном крике —
 тяжелом и темном —
 вязну...
 Я должен прыгнуть.
 Я прыгну!
 Сейчас я
 прыгну
 на эту планету —
 земную.
 Добрую.
 Вашу.

Зима тридцать восьмого

Зима
 тридцать восьмого года.
 Январь.
 Большие холода.
 Отец,
 вернувшийся с работы
 домой
 позднее, чем всегда.
 Сейчас он на окне отыщет
 большое блюдо холодца.
 Сейчас он скажет:
 «Вкуснотища!!»
 Но почему-то
 у отца
 вдруг ноги
 подкосились ватно.
 И, грузно
 рухнув
 на кровать,
 он закричал:
 «Не виноваты-ы!
 Из них
 никто не виноват!...»
 О чем он,
 мама?
 Что он,
 мама?
 Отец — и плачет?!
 Отчего?
 Он —
 сильный.
 Он такой
 громадный...
 Кто может быть сильнее
 его?!..
 А мама причитает:
 «Тише...»
 И повторяет:
 «Боже мой!..
 Услышать могут...»
 Что
 услышать?!..
 Мне в том году
 пошел
 седьмой.
 Я больше
 ничего не помню.
 Сменяется
 за следом след...
 Я этот крик отцовский
 понял
 не скоро.
 Через двадцать
 лет.

У

Николай
ШАКОВ

Ах вы, теплые леса

Ах вы, теплые леса
над речными руслуями!
Ты мне пой, моя краса,
да не только гуслиями.
Над бездонным бочажком
наклоняйся солнышком —
лапушкой да лопушком —
травушкой Аленушкой.
Ну, а слезкою не тай
и вокруг да около
ягодку не подбирай, —
бей по цели соколом!
На зеленом сядь лугу —
о былом рассказывай.
Стань на красном берегу —

путь сердцам показывай!
Сколько вас — красивых всех, —
тут река да там река.
Тысяча окошек — цех,
десять тысяч — фабрика!
Вот он, пламенный Урал,
воздух электрический.
Я тебя не выбирал,
мой кристалл магический.
Край мой стрелчатый лесной,
горный край немеряный,
все мы избраны тобой,
каждый — твой доверенный.
Ах, на камушках леса —
стрел и стрелок ярусы,
ах ты, русская краса,
будь мне полным парусом!

К

Анатолий
УДРЕЙКО

Губком

Сорок лет,
как его я покинул порог!
Пряжа времени
стала тяжелым клубком...
Но всегда пред глазами
начало дорог:
«Губернаторский дом» —
комсомольский губком.
Отражают сквозь годы
его зеркала
Кожу сбившихся курток
и знамени шелк.
Настежь окна —
зеркальная грань забрала
Даже свечи каштанов,
где птиц перещелк.
О ватага моя! Где отвага твоя?
Как еще ты робка,
до смешного тиха!
Ты берешь, опасений своих не тая,
Очень хрупкую палочку
Музы стиха.
Что ж, другой разговор,
будь ружейный затвор,
Долото, иль сверло, иль
машинный рычаг!..
Уповать перестал на прекрасный задор
Даже самый отпетый у нас весельчак.

Был сердечен и строг
комсомольский Парнас.
Стих судили сто раз —
и на глаз
и на слух.
Чтоб горел!
Чтоб звенел! Чтоб, как надо, — про нас!
Чтоб от строф
у буржуя корежило дух!
Не наивным считаю я
этот урок!..
Пряжа времени
стала тяжелым клубком...
А стоит пред глазами начало дорог:
«Губернаторский дом» —
комсомольский губком.

Я вглядываюсь в поле за избой —
зарницы это поле опаляли,
и выходило так само собой —
то вспыхивали, то мертвели дали.

Как будто грозовая шла игра,
и обходилась молния без грома,
но как виднелись:
выпуклость бугра,
река
и трос недвижимого паррома,

и низкое жнивье,
и верх скирды,
и у села поваленные прясла...
Мгновенна участь огненной черты —
и вся картина вместе с нею гасла!

И поле окуналось в черный мрак,
и окружало вновь неразберихой:
не скажешь — где скирда,
а где овраг,
а где паром у переправы тихой...

По всей избе как бы плескался сон,
в светелке спал паромщик тугоухий:
он до утра на ложе вознесен
лихою самодельной медовухой.

С Борис луцкий

Полеты во сне

Любые полеты начинаются
с полетов во сне.

Все летают во сне.
Наяву — только очень немногие.
Всех качало сначала, подобно одинокой
осене.
Все взлетали потом, как жуки мохноногие.

Сон в полете доступен тому, кто в полете
заснет.
В самолете мне спать не случилось
ни разу,
но, наверное, тысячу раз мой сосед,
не закончивши фразу,
засыпал,
улыбаясь,
среди облаков и высот.

По цвету улыбки, безмятежнейшей
голубизне,
я всегда понимал, что он видит полеты
во сне.

В Константин аншенкин

Сколько вернулось народу! —
Будто с войны.
Те, за кем не было сроду
Малой вины.

Ему с утра опять гонять паром —
туда-сюда! —
клонясь к речному тросу.
Не то что мне поскрипывать пером
и жечь за папирсой папиросу.

И что ему степных зарниц игра
и всех ее волшебств чередованье,
когда вокруг —
от стога до бугра —
все обретает четкость изваянья,

и на мгповенье видишь далеко
простор в таком слепящем озаренье,
что переходит каждый знак легко
с родной земли в твоё стихотворенье!

Шоферша вязала в кабине
огромного самосвала.
Зубами узлы отрывала.

Руками, большими от техники,
тяжелыми от мотора,
вязала проворно и скоро.

Плясали толковые спицы,
блестящие, словно бы ногти,
старинную пляску на кофте.

И кофта росла неустанно,
как дом, но не обычный, столичный,
а древний, привычный, кирпичный.

Как символ инерции быта,
наверно, не будут забыты
воспетые в этом сказанье:
шоферша, кофтенка, вязанье.

Будто из трепетной были
Дней молодых —
Те, кого даже забыли
Числить в живых.

Будто из долгого плена —
Сразу домой.
Произошла перемена
Жизни самой.

Хоть и потеряно много,
Нужно опять
Невозмутимо и строго
Жить начинать.

Сколько людей улыбнулось
Людам тепло.
Сколько назад не вернулось,
В землю легло.

Колокольчик

...Но что это? Безумство? Донкихотство?
Мчит вихрем Пущин к Пушкину сейчас.
(Фамилий их таинственное сходство
Недаром в детстве радовало нас.)

Метет поземка среди полей унылых,
Свистит, снежком затягивая путь.
А между тем никто уже не в силах
Широкий бег саней перечеркнуть.

Е Валентин рмаков

По вечерам...

Он стар, как бог.
И тает, тает,
Как вера в бога тает в нем.
Он в клубе лекции читает
О просветлении своем...
А после
Тропкой наторенной
Приходит он по вечерам

П Сергей оделков

Говорит солдат

Ракета раздирала небосвод,
клинообразной птицей трепетала,
полк — острями выстрелов вперед —
был брошен в бой свечением сигнала.

Трезвонит колокольчик и тревожит,
То глохнет, то выказывает прыть.
А между тем ничто уже не может
Его негромкий голос заглушить.

И как это прекрасно в самом деле,
Что скачет друг, что ждет его другой,
Что сквозь поля, столетья и метели
Трепещет колокольчик под дугой!

Из жизни поздно или рано
Уходит каждый в свой черед.
Пощады нет! Но как ни странно,
А жизнь по-прежнему идет.

И молодость не погибает
От горя страшного, когда
Достоинство старость покидает
Простор щемящий
навсегда.

...Они — пока мы живы — с нами,
И вечером и поутру.
И потому все то же знамя
Все так же бьется на ветру.

К церквушке,
Властью сохраненной
Во славу русским мастерам.
И стонет там!
Ведь не минута,
Не час, не день,
А столько лет
Там было отдано кому-то,
Кого и не было и нет.

А в час салюта — грохот батарей
в тумане человеческой печали,
и зерна осыпавшихся огней
тревожной радостью в глазах мерцали.
И я б хотел так жить и умереть —
дай силы мне, о русская природа,

сигналом в лихолетие взлететь
и просиять на празднике народа.

Предутренняя баллада

Задыхаюсь.
Пробиваюсь
сквозь буран, сквозь снежные ветви.
Где я?
Ни зги. Бьют ледяные плети.
Ночь или день?
Ни души. Где же становье?
Сердце заняло от белого безмолвья.
А буран вращается, будто купол,
а буран как сферическое наваждение,
вихрей смещение, как перебежка кукол,
бледных часовых свирепое виденье...
Хоть бы от молнии время расколосось,
хоть бы скрипнул где-нибудь санный
полоз...

Голос?
Голос!
Знакомый голос.
Цепляюсь, как за соломинку, за этот голос.
Голос Ольги.
Голос зовущий движется.
Зацветают, наверно, ольхи,
соловьиная песня слышится.
Значит, где-то весна, шевелятся корни,
цветы и деревья жизнью намагничены.
Кричу — но слово распалось в горле,
как на луне — не докличусь.
Шагну — а тверди не чую,
в пропасть срываюсь, куда-то лечу я,
тащит меня неизвестная сила.

Стой!
Все это, кажется, уже было,

Ш Яков ВЕДОВ

У Заставы Ильича

За сквером на конечной остановке
Стоит и дышит тяжело троллейбус;
Водитель провожает пассажиров
Спокойною и чистою улыбкой.
Они ему все издавна знакомы,
Не первый год он водит здесь машину
От площади Дзержинского, от центра,
К Заставе Ильича,
Навстречу солнцу.
22 Последним вышел сталевар известный.

меня, умирающего, когда-то
несли сотоварищи на скрещенных
лопатах,
а на мне — ледяные оковы...
Но за что? Что я сделал такого,
я, целовавший Красное знамя?

Белый морок с полярными огнями.
Белый буран.
Белые собаки.
За белой проволокой белые бараки.
Белые вышки.
Белые автоматы.
Белым страхом мысли объята.
Есть ли предел или нет предела?

А тело
заледенело,
залубенело.
А сердце, ложью затравленное, мечется,
а сердцу на голос рвануться хочется.
Я в отечестве лишен отечества.
Нет ничего страшней одиночества.
Где же ты, голос?
Пропал за бураном.
Меня обегает видением странным
кипящих овчарок злая облава.
Какая же рука с неба солнце стерла?
На соловьиною песню отнято право,
смерзлось соловьиное горло.
Задыхаюсь.
Просыпаюсь.
А-а, это преследует меня бывшее...
Улыбаюсь.
В сердце утренний свет —
и надо мною,
как солнце над долиною,
руки твои,
губы твои,
глаза твои соловьиные.

Пожав водителю большую руку,
Он пожелал ему счастливых рейсов
И на прощание сказал: «Спасибо».
— Спасибо, друг, от всей бригады
нашей —
Ты сквозь туман троллейбус вел отлично.
У матерей, что в детский сад спешили,
Спокойно спали на коленях дети!

— За слово доброе и вам спасибо! —
Сказал рабочему в ответ водитель...

И вдруг синее стало небо
 Над заводом,
 Над площадью
 И новыми домами.
 Меня ждала обычная работа...
 До перерыва я упорно думал,
 Что говорить «спасибо» мы отвыкли,
 А сыновья совсем забыли это слово.
 Оно светилось как бы предо мною,

ДЮЛИЯ ДРУНИНА

Девочки и поэты

Красотки серийного производства,
 Современного образца,
 Со штампом собственного превосходства,
 Хотя без собственного лица,—
 Вы так пикантны,
 Вы так модерны,
 Так модны линии длинных глаз!
 И лишь одно, согласитесь, скверно:
 Различать трудновато вас...
 Меня, признаться, оторопь берет,
 Когда косяк «бабетт» безликих прет.
 Нет, я не против подведенных глаз,
 Губные не браню карандаши,
 Но, девочки, а как насчет души —
 Куда она запрятана у вас?
 Скучны конвейерные сделанные девы —
 Незаурядность, самобытность —
 где вы?
 Где та, с «лица необщим выраженьем»,
 Что каждым жестом и любым движеньем
 Так выделяется из косяка?
 Незаурядность —
 это дарованье,
 Незаурядность —
 это обаянье,
 Хотя певидимы они для дурака...

БОЛЕГ БУШКО

Перекличка

Октябрь сорок второго года.
 Мороз чуть ли не в душу влез.
 И сыновья «врагов народа»
 в тылу далеком ваят лес.

На перекличке здесь такие
 фамилии звучат порой,
 что голову невольню вскинешь,
 чтоб оглядеть застывший строй.

И вместо «до свиданья» после смены
 Сказал я старым мастерам «спасибо».
 Они тогда в мои глаза взглянули,
 Потом меня улыбкой одарили,
 Овеянной большим теплом сердечным,
 И мне ее не позабыть вовеки...
 ...Давайте чаще
 Говорить «спасибо».

Поэты серийного производства,
 Современного образца,
 Со штампом собственного превосходства,
 Хотя без собственного лица,—
 Вы так техничны,
 Вы так модерны,
 Такие модные рифмы у вас!
 И лишь одно, согласитесь, скверно:
 Вы одинаковы все на глаз...
 Скучны сошедшие с конвейера поэты,—
 Ау, Поэзия!

Муза, где ты?

...Она блистает редко на афишах,
 Ей не по сердцу показной успех.
 Не любит болтовни —

не часто слышишь

Ее скупую речь,
 ее негромкий смех.

И все-таки необщим выраженьем,
 И каждым жестом,
 И любым движеньем
 Так выделяется она из косяка!
 Пусть не кричаще

это дарованье,

Пусть не блестяще

это обаянье,

Пускай невидимы они для дурака...

С кем? Где ты?

В предоктябрьском Смольном?

В послеоктябрьском ли Кремле?
 Мороз пропитан духом смольным,
 метет поземка по земле...

Иль, может, в час политзанятий
 решили список нам зачесть
 тех, кто и в царских казематах
 большевика не предал честь?

Но нет, в строю немом застыли
ребята — сверстники, друзья.
И на одну из тех фамилий
я хмуро откликаюсь: «Я!»

А по земле поземка кружит,
и «я» уносится во мглу.
Мне не доверили оружия,
я «изолирован» в тылу,

где сыновья «врагов народа»
не в бой идут, а валят лес.
Октябрь сорок второго года.
Мороз чуть ли не в дущу влез...

А где-то — пламя грозных вспышек...
И падает за взводом взвод...
И я начальника не слышу,
я слышу: Родина зовет!

Сын за отца не отвечает?
Нет! От начала до конца
я отвечаю, отвечаю,
я отвечаю за отца!

За те листовки, что печатал
в подполье большевистском он,
и за статьи в «Окопной правде»
в преддверье грозных времен,

за то, что комиссаром Щорса
он на войне гражданской был,

за большевистское упорство,
за революционный пыл...

Пусть пятьдесят восьмая крестик
на нем поставила статья, —
стране — в строю красноармейском —
я за него отвечаю: «Я!» —

в строю, где пламя грозных вспышек,
где падает за взводом взвод...
Нет, не начальника я слышу,
я слышу: Родина зовет.

Идет поверка. Все мы в списках.
И, глядя вдоль колонны всей,
ищу я взгляды верных, близких,
все понимающих друзей.

Отбой. Растаяла колонна.
И мы бежали среди тьмы.
И в Наркомате Оборонны
через неделю были мы...

Да, жизнь меня не обделила
ни лагерями, ни войной.
И знаю я:

что было — было:
культ — культом,
а страна — страной!

К Владимир Арпеко

Открой журнальную страницу —
В стихах там жалуется всяк:
Один — что опоздал родиться,
Другой — что рано родился.

Но я за них не беспокоюсь,
Пройдут года — таков закон:

Б Виктор ОКОВ

Деревня Язвицы

Речка Гордыль.
Деревня Язвицы.
Две черемухи машут листвою.
Я не вижу особенной разницы
Между Язвицами и Москвой.

Один из них освоит полюс,
Другой взнуздает электрон.

И, времени пройдя обточку,
Вдруг удивится человек,
Что он родился точка в точку.
В тот самый миг.
В тот самый век.

Только наша деревня поменьше,
Да попряталась в темном лесу.
Не ищите в ней модных женщин,
Есть они, но гулять недосуг.

Наши женщины передовые,
К ним со сплетнями не приставай,

Им события мировые,
Им политику подавай!

Вечерами глядят в телевизоры,
Не отлеживаются на печи,
По утрам у нас над карнизами
Ходят голуби-москвичи.

С Красной площади прилетели,
Чтоб по-сельскому ворковать,
Как, сердешные, захотели
Наших зернышек поклевать.

Молодежь в школах вечером учится,
Это добрый, хороший пример.
Из кого-то профессор получится,
В крайнем случае инженер!

Там отец мой — Федор Сергеевич,
Скоро восемьдесят ему.
Отдыхает летом не где-нибудь,
А у моря и только в Крыму!

Пчел он знает, как я инверсии,
Как бывалый солдат — бои.
Посмотрели бы вы, как он весело
Огребает в роевню рои.

Вечерами деревня наша
Электричеством залита,
А частушечница Наташа
Геометрией занята.

Под окном кто-то ходит, томится,
Кто? Не будем его узнавать,
Постучаться к Наташе боится,
Ей экзамены надо сдавать.

Речка Гордыль.
Хрусталь. Слезинка.
Я в разлуке скучаю по ней.
Темпераментна, как лезгинка,
А течет среди русских полей!

П Сергей Поликарпов

Погосты

Погосты на холмы взбираются
Упрямо,
Путаясь в корнях
Угасших роц и чернобылья,
Оскальзываясь,
Как на льду,
На глинистых сырых подъемах,
В песке текучем оступаясь
И увязая.
Но призывны
Восходы лун и солнц каленых,
Что дарят свет холмам допрежде
Долин,
Издравле обжитых
Живыми.
И закаты высям
Раздумчивей и выше кажутся.

Страна теней и сумрака!
По праву
Ее немым и вечным поселенцам,
Сгоревшим,
Чтобы сделать ярче полдень
Для своего земного продолженья,—
По праву им
Хотеть и помогаться

Встречать восходы раньше,
Чем живым,
И горестно
Последними прощаться
С беззвучной золотою колесницей,
Свозящей добрый свет за оком.
По праву им!
По праву
И по долгу,—
Небытием спеленатым навечно,—
Внимать пристрастно,
С солнцем пробуждаясь,
Что созданное ими
Все благое
Живущим на земле
Идет во благо!
По долгу им!..
И потому упрямо
Взбираются погосты на холмы.

Человек мечтал во все века
В мире побывать потустороннем
Гостем
И, торопко возвратившись,
Рассказать доподлинно собратьям,
Как и что.
И есть ли в мире бог...

Даже из могильных казематов
Вырваться порою удается
Узникам...
Какой тюремщик мрачный —
Бог,—
Живым не выпустивший сроду
Смертного на свет ни одного!
О!
Как видно, есть чего страшиться
Богу!..
Знать, Нерону и Аттиле,
Как всем живым и присным торквемадам,

Невозмогу тягаться со всевышним
Было в обречении живых!
Если б человек сумел однажды
В мире побывать потустороннем
Гостем или узником случайным
И, оттуда вырвавшись на волю,
Рассказать доподлинно собратьям
О палаческой боговой конторе,—
Люди бы давно забыли к богу
Тракты все
И потайные тропы.
И давно б изобрели бессмертье!

О Лев зеров

Немо горит в окне огонек,
Звезды немые,
Где мы, когда человек одинок?
Где мы?
Где мы, когда он, уставясь во тьму,
Ищет совета?
Где мы,
Чтоб вовремя выйти к нему,
Ждущему где-то?
Сколько с тобою мы громко клялись
В чуткости к другу?
Что же ты далью счел эту близь,
Спрятал за спину руку?
Взял да забился в свой уголок,
Пишешь поэмы...

Где мы, когда человек одинок,
Где мы?..

Сколько ни езжу, сколько ни лазаю,
Сколько ни плаваю, ни лечу,—
Увидеть хочу Европу и Азию,
Разноязычную землю разную.
Такие поездки мне по плечу.

Но сам себя спрашиваю:
Ответствуй,
Свершил ли, бродя по маршрутам таким,
Самое долгое из путешествий,
Самое трудное из путешествий —
Путешествие к душам людским?..

Т Вероника ушнова

Ты не горюй обо мне, не тужи,—
тебе, а не мне
доживать во лжи,
мне-то никто не прикажет:
— Молчи!
Улыбайся! —
когда хоть криком кричи.
Не надо мне до скончанья лет

думать — да,
говорить — нет.
Я-то живу, ничего не тая,
как на ладони вся боль моя,
как на ладони вся жизнь моя,
какая ни есть,—
вот она я!
Мне тяжело...
тебе тяжелей...
Ты не меня,— ты себя
жалей.

О Сергей РЛОВ

Встреча

Я повстречался с ним в Париже,
В Париже с русским, с земляком,
С потрепанным, притихшим, рыжим,
С моим врагом к лицу лицом.
Его случайно не добили
В котле, в Курляндии еще.
На пляс Пигаль из водной пыли
Он вынырнул, блестя плащом.
Он появился вдруг, как будто
Из тьмы и праха плотью стал,
Едва по брюкам пресловутым
И папиросам нас узнал.
Щербатый рот в улыбке ширя,
Он злость смирил не без труда:
— Ну как у нас в свободном мире
Вам приглянулось, господа?.. —
Ну что ж, мы были господами
Пред ним, а он и здесь чужим.
Париж дружил не с ним, а с нами,
И мы заговорили с ним.
— Валяй, — беззлобно мы сказали, —
Выкладывай, чем ты богат. —
За нами крепости вставали
Металлургических громад.
России зори на полсвета,
Ее и завтра и вчера.
За ним — лишь глядя на ночь где-то
За тридцать франков конура.
Мела на пляс Пигаль свобода
Нейлоном юбок камень плит.
Нет, он не лез без брода в воду
И был отнюдь не лыком шит.
Огней кричащую рекламу

С Владимир ОКОЛОВ

Незаконнорожденных
записывать в художники.
Указ Петра I

Забавна эта мысль Петра,
Но как мудра и величава...
Пронзающая до нутра,
Смешная с первого начала.

Мне интересен лик его
В тот миг, когда он быстро взвесил
Все «да» и «нет» до одного.
Он был тогда угрюм иль весел?

27 Он, может, так захохотал,
Что терем колоколом грянул.

Он не призвал на помощь в спор.
А, так сказать, с высот Нотр-Дама
Вести пытался разговор.
Он пел: у вас с искусством плохо,
Зашла поэзия в тупик.
Я за Есенина, за Блока,
За их божественный язык...
Слова выплевывая люто,
Спешил он, словно встрече рад.
И я услышал в ту минуту,
Как бьет немецкий автомат.
В Курляндии в сорок четвертом
Он бьет, страхась сдаваться в плен,
К стене припертый в злобе мертвой...
Но здесь Париж шумел у стен.
И мы сказали: что ж, неплохо,
Твоя хула — для нас хвала...
Но ты Есенина и Блока
Не тронь, а то сгоришь дотла...
Все это было б эпизодом
Без обобщенья, но не раз
Встречался я за эти годы
С прищуром лютым мертвых глаз.
И я стихи с моим задапьем
В бой вывожу не на парад,
И нету сосуществованья
На фронте, там, где я солдат.
Идет поэзии пехота
В пыли и глине, горяча.
Но если хвалит враг кого-то,
Я не спешу рубить сплеча
И утверждать, что это плохо.
Я помню, выверяя шаг,
Как за Есенина, за Блока
В Париже мой хватался враг.

А может быть, чертеж скатал
В трубу подзорную — и глянул.

И увидал, как на страду
По всем колдобинам России,
С холстом и кистью не в ладу,
Идут впеброчно прижитые.

И, маясь дивною судьбой,
Находят лад. И знаменито
Всей неприкаянной гурьбой
Грехи отмаливают чьи-то.

Пусть в нас иной, несхожий пыл
Великой волею заронен,
Нам надо помнить, как он был,
Художник русский, узаконен.

Любовь

Утешь меня. Скажи мне — все неправда.
И я поверю. Я хочу поверить.
Я
должен
верить.
Через не могу.
На отдаленном синем берегу

С Михаил ВЕТЛОВ

В больнице

Ну на что рассчитывать еще-то?
Каждый день встречают, провожают...
Кажется, меня уже почетом,
Как селедку луком, окружают.

Неужели мы безмолвны будем,
Как в часы ночные учрежденье?
Может быть, уже не слышно людям
Позвоночного столба гуденье?

Черта с два, рассветы впереди!
Пусть мой пыл как будто остывает,
Все же сердце у меня в груди
Маленьким боксером проживает.

Разве мы проститься захотели,
Разве «Аллилуйя» мы споем,
Если все мои сосуды в теле
Красным переполнены вином?

Все мое со мною рядом, тут,
Мне молчать года не позволяют.
Воины с винтовками идут,
Матери с детишками гуляют.

И пускай рядами фонарей
Ночь несет дежурство над больницей,—
Ну-ка, утро, наступай скорей,
Стань мое окно моей бойницей!

Моей реки, зовущейся Непрядва,
На камушке сидишь ты.
Злая челядь
На противоположном берегу.

Утешь меня. Скажи мне: все, что было,—
Случайность, наваждение, не закон.
И я влюбленно, а не через силу
Тебе отвечу русским языком:

Утешь меня, чтоб впредь не попрекали.
Ведь я силен. Еще сильнее — со зла.

...И я погибну на реке Каяле,
Чтоб ты, как Русь, как девочка, жила.

Послание Александрю Жарову

Большие годы не остановились —
Тебе сегодня стукнет шестьдесят.
Не шесть десятков стариков явились,
А шестьдесят отчаянных ребят.

Обнимемся, мой теплый, старый друге!
Перед грядущим не опустим глаз.
Против врага испытано оружие,
Против мещанства есть противогаз.
История нам не поставит двойки.
Твой юбилей почетный настает —
И я, прикованный к больничной койке,
Как сумасшедший заорал: «Вперед!»

Никто от боя не уединился,
Никто с поста ни разу не ушел.
В те годы на Поэзии женился
Ну прямо по уши влюбленный Комсомол.

В искусстве быть всегда, во всем
веселым! —

С тобой мы вывод делаем простой,—
Серебряная свадьба с Комсомолом
Ведет поэта к свадьбе золотой.

И до чего судьба завидна наша!
И чтоб от буден праздник отличить,
Я чокаюсь с тобою, Жаров Саша,
Хотя врачи мне запретили пить.

Так соберем же вместе наши кости —
Какой гигант получится, бог мой!..
Ко мне, как неожиданная гостья,
Пришла идея — вышьем по второй!

И весь теперь я полон жаждой острой
В твою ладонь вложить мою ладонь,
И пусть они обнимутся, как сестры,—
Моя «Гренада» и твоя «Гармонь»!

13 апреля 1964 г.

Какой это ужас, товарищи,
Какая разлука с душой,
Когда ты, как маленький, свалишься,
А ты уже очень большой.

Неужто все переиначивать,
Когда, беспощадно мила,
Тебя, по-охотничьи зрячего,
Слепая любовь повела?

Тебя уже нет — индивидуума,
Все чувства твои говорят,
Что он существует, не выдуман,
Бумажных цветов аромат.

Мой милый, дошел ты до ручки!
Верблюдам поди докажи,
Что безвитамины колючки,
Что надо сжирать миражи.

И сыт не от пищи терновой,
А от фантастических блюд,
В пустыне появится новый,
Трехгорбый счастливый верблюд.

Как праведник, названный вором,
Теперь ты на свете живешь,
Бессильны мои уговоры —
Упрямы влюбленные в ложь.

Сквозь всю эту неразбериху
В мерцанье печального дня
Нашел я единственный выход —
Считай своим другом меня!

4 мая 1964 г.

С Анатолий Офонов

Карусель

Чем ближе к Москве, тем тревожней;
Чем дальше — тревожней стократ...
Маршрут не тобою проложен,
И я ему вовсе не рад.

Не рад машинерии пестрой,
Коттеджам не рад расписным;
Не рад ощущениям острым
И всяким забавам иным.

Несется планета по кругу,
По старой оси вековой...
А я догоняю подругу,
Что дышит весенней Москвой.

Как будто верхом на лошадке,
Под скрип карусельной оси,
Ковбоем скачу по площадке,
Не то что у нас на Руси.

И нет здесь печальной шарманки,
Моторы здесь движут коней;
И вдоволь здесь всякой приманки
Для местных веселых парней.

И ходят здесь девочки в брючках,
В обтяжку, как будто в трико...
Но как эти тонкие штучки
От нас далеко, далеко!

Цветет в Калифорнии вереск,
Подобный прощальной звезде.
Зеленый, уступами берег
Срывается к синей воде.

Готов бы и я стать ковбоем,
Скакать по весенней траве,
Чтоб только скорее с тобою
Увидеться снова в Москве.

На самом излете разлуки
В глаза твои жадно взглянуть
И солнцем нагретые руки
К тебе, как всегда, протянуть.

В итальянской харчевне в Сиднее,
Где неоновый свет голубой,
Все, что прожито, много виднее,
Что прочерчено нашей судьбой.

Если хочешь — ты будешь веселым,
А захочешь — печаль подойдет;
Брось монету ты в пасть радиолы,
И она — что захочешь — поет.

Застучат, загремят кастаньеты,
Мандолину под такт торопя...

И с печальным дымком сигареты
Память вынесет снова тебя.

Всю как есть — от макушки до пяток,
С торопливой походкой твоей,—
В теплой сетке ночного Арбата,
В самом центре московских огней.

...Застучат, загремят кастаньеты,
Отлетит и развеется грусть.
Позавидовать могут поэты
Механической фабрике чувств.

Итальянец подходит неслышно,
Говорит мне, а что — не поймешь...
Барабанит знакомо по крышам
Австралийский серебряный дождь.

Д Михаил
Дудин

Песни Лебязьей канавке

1

Лебединые юности трубы
В невозвратном поют в далеке.

Не криви пересохшие губы.
О былом не гадай по руке.
И от глаз напряжением воли
Отгони невеселую тень.

Бесшабашно на Марсовом поле
Голубая бушует сирень.
Бушевала сирень. Бушевала,
Даже смерти самой вопреки.
И стучали по плитам канала,
Спотыкаясь, твои каблукы.
Перемешанный с дымкой рассвета,
Поднимался сиреневый чад.

Каблукы из блокадного лета
Не по плитам,— по сердцу стучат.

Две орбиты схлестнулись, и круто
Развернулись ракеты в рассвет.
Стала вечностью эта минута.
Ей ни смерти, ни времени нет.
Отпылили далекие марши.
Белой ночи рассеялся дым.

Я не стал ни моложе, ни старше,
Я остался все тем, молодым.
Я живу этим чудом рассвета,
И с восторгом в моей тишине
Из того невозвратного лета
Откликаются лебеди мне.

2

Я не был обнесен у жизни на пиру
Ни чашей мести и ни чашей чести.
Ты кончишься со мной иль я с тобой умру,
Не все ль равно,— мы были в мире вместе.

Был белой ночи зябкий облик тих.
Был только миг. И в этот миг мгновенный,
В миг озаренья, ради нас двоих
Часы остановились во вселенной.

Ты шла со мной сквозь радость и печаль,
И горизонтам не было предела.
И за тобой в неведомую даль
С твоей душой моя душа летела.

И там, где мрак среди вершин залег,
Я шел к тебе у пропасти над краем.
Любовь моя — живой души залог,
Я стал, как ты, во всем неиссякаем.

3

Ах, Лебязья канавка! По бѣрежку,
По траве-мураве на весу
Я в пригоршнях укрытую бережно
Память птицу-синицу несую.

Ах, Лебязья канавка! Не наши ли
Соловьи ликовали в ночи.
То, что было со мною,— не спрашивай.
То, что будет со мною,— молчи.

Ах, Лебязья канавка! Под липами,
Над твоею над тонкой водой,
Мы пригубили счастье, да выпили,
Да запели душой молодой.

Ах, Лебязья канавка! Из давности
Светлой страсти, кипевшей в бою,
Я несую тебе дань благодарности —
Ненасытную душу мою.

Ф Илья ренкель

Человек в лесу

Шел, поскрипывая снегом,
Человек, подобный мне,—
Он, как я, долгонько не был
С тишиной наедине.

Дунул ветер. Снова дунул.
Он подул всюду. И вот
Человек, как я, подумал:
«Реактивный самолет...»

Застучал, зачем-то влезший
На сосну, телеграфист,
Точно поезд, старый леший
Испустил истошный свист.

И носы кикимор местных
Наблюдая сквозь очки,
Путник думал: «Интересно!
Очень милые сучки».

Все, что слышал, все, что видел,
Дятел пишет на коре:
Поглядел и сразу выбил
Строчку точек и тире...

Лично сам я долго не был
С тишиной наедине.
Я стучал бы рядом с небом
По высокой той сосне,

А внизу скрипел бы снегом
Человек, подобный мне.

Б Александр езыменский

Трагедийная ночь

(Глава из четвертой части эпопеи)

...В тот год весна была дождливой.
Застлали тучи небосвод.
Но это был большой, счастливый,
Великий год. Двадцатый год.

В денек, ненастный как сегодня,
Под вечер,

в час, когда тоска

Была особенно резка,
Станицына с постели поднял
Треск телефонного звонка.

— Куда вы рветесь глядя на ночь?
Дождитесь завтрашнего дня!..
Простите, Глеб Максимильяныч...
Но что вам нужно от меня?
Проект? Какой? Что забракован?
Звонить не стоило труда!
Прошу сыскать глупца другого...

Как разбракован? Кем? Когда?
Неужто он кому-то ценен?
Таких безумцев не найдешь...
Кто поручил вам это? Ленин?
Не может быть! Неправда! Ложь...
Вы извините. Но едва ли
Меня сроднишь с большевиком.
Ну что же, вы у нас бывали.
Я жду,— ведь адрес вам знаком...

И в черную непогодь
ночи московской,
Чей холод
и в печку и в душу проник,
Приехал к Станицыну
Глеб Кржижановский,
Большой инженер,
весельчак,
большевик,
Мечтатель и практик,
поэт и ученый,
Боец,
неустанно громящий старье,
Душа-человек,
беспредельно влюбленный
В людей,
в революцию,
в дело свое.
Владел он
чудесным
врожденным умением
Людей окрылять
и в труде и в боях,
В них силы утроить,
развеять сомненья,
Их выучить
смело бросать в наступленье
И волю, и знания,
и пыл вдохновенья,
И точный расчет,
и замах,
и размах.

Он вел разговор
о мечте стародавней,
Что явью становится
только сейчас.
— Разбейте, Станицын,
прогнившие ставни,
Что яркое солнце
закрыли от вас!
Препятствий когдашних
нет перед вами.
Мы выгнали в шею
былое зверье.

Вы станцию вашу
воздвигнете сами,
И думаю я,
что не только ее...

Он взял чертежи.
Он рассказывал долго
О плане,
что Ленин задумал в Кремле.
Ведь Ленин считает
и честью и долгом
Заставить работать
и Волхов и Волгу,
Всю мощь водяную
на нашей земле.
— Ему и России
Станицын известен.
Давайте трудиться
на пользу стран!
Чтоб тонкости плана
продумывать вместе,
Прошу вас
пожаловать завтра
ко мне...

Хоть был тот шаг безмерно труден,
Его не сделать он не мог.
Сергей Станицын нужен людям!
(К тому же все-таки паек...)

Но что за чушь
крупя, махорка,
Селедки, вобла и дрова,
Когда порою от восторга
Кружиться стала голова.
На карте матушки-России
Глеб Кржижановский перед ним
Наметил станции такие,
Что будут вровень мировым.
Да тут предвидятся заданья
На миллионы киловатт!
(Большевики при всем старанье
Навряд ли их осуществят.
Большевиков прогонят скоро,
У них гвоздя для стройки нет,
Но этот план — всему опора,
Что принесет стране расцвет.)

Он стал неистово трудиться...
Полгода минуло всего,
А инженер Сергей Станицын
Стал замечать, что на него
Совсем не действуют ни слезы
Его сиятельных родных,
Ни брань знакомых, ни угрозы

Десятков писем подметных.
 К нему наведывались в гости
 Посланцы «фирменных горилл» *,
 Его ругавшие со злостью
 За все, что он тогда творил.
 Он закрывал за ними двери
 И вновь работал за столом,
 Не веря в них,
 в большевиков не веря,
 Но в чем-то чувствуя себя
 Большевиком...

...Не сразу найдешь настоящую меру
 Тому, что несет Красоту и Добро.
 Припомнил Станицын ряды инженеров
 Комиссии ГОЭЛРО.

Здесь были и те, что таили расчеты
 Сорвать большевистский развернутый
 план.

Здесь были и те, кто пошел на работу
 За-ради пайка, что комиссии дан.
 Но стали ядром инженеры такие,
 Что жаждали блага родимой земли
 И честно трудились во имя России,
 Хоть в Ленина верить
 сполна не могли.

Но вот промелькнуло короткое время,

* Так называл Станицын владельцев нескольких
 акционерных «электрических обществ» и фирм
 царской России, совместными силами провалив-
 ших его проект строительства гидростанции на
 одной из рек страны.

Автор исходит из исторического факта. В 1910
 году инженер Г. О. Графтио создал проект си-
 ловой установки и шлюза на реке Волхов. Про-
 ект был отвергнут царским правительством под
 нажимом «фирменных горилл», владевших па-
 ровыми станциями в Петербурге.

В 1921 году по инициативе В. И. Ленина Генрих
 Осипович Графтио был поставлен во главе
 Волховского строительства.

Все стало понятней, ясней и видней,
 И что-то случилось
 и с ними

и с теми,

Кто был равнодушен к работе своей.
 Единое, мощное, светлое чувство
 Чудесным теплом охватило сердца.
 Всегда ремесло превратится в искусство,
 Когда ощутишь вдохновенье творца!
 Да разве могли бы владыки любые
 Любой существующей в мире страны
 Поставить пред ними задания такие,
 Какие им Лениным были даны?!
 В районе, что равен иным государствам,
 Ты светом и радостью все озари!
 Гряди, инженер,— и над планами

царствуй,

Хозяйствуй, рассчитывай, думай, твори!
 В районе ты все запланировать властен,
 Но так, чтоб рождася всеобщий успех.
 Не смей забывать, созидающий мастер,
 Что строишь не только районное счастье,
 Но счастье отечества, счастье для всех.
 Неверье сменилось в сердцах удивленьем,
 С которым волна восхищенья слилась.
 Так вот он каков,

недопонятый Ленин!

Так вот что такое

советская власть!

Они убедили не всех маловеров,
 Но миру они показали пример,
 В чем суть, и призвапье, и долг инженера
 И что это значит, что ты — ИНЖЕНЕР.
 Должно означать это гордое слово
 Не имя поденщика фирмы горилл,
 А званье строителя счастья людского,
 Творца,

что народу

свой труд посвятил...

В Сергей асильев

Проводы друга

Памяти Владислава Броневского

То Моцарт рыдал, то накатывал Бах,
 как Висла

в часы ледостава...

С цветами в руках

и со скорбью в сердцах

прощалась с поэтом Варшава.

Внимая, как льется печальный мотив,

в заваленном розами зале,
 в почетном немом карауле

застыв,

Гомулка с Завадским стояли.
 Со всех перепутий огромной земли,
 как грусти нелегкие знаки,
 сочувствие

братьям своим принесли

румыны,

болгары,

словаки.

Великую скорбь принесла Беларусь,
безмерную горесть —

Россия.

Наохлился
сдержанный Бровка Петрусь,
устал от горючей слезы я.

А после...

А после сквозь вихрь снеговой
мы тихо за гробом шагали,
в мороз с непокрытою шли головой,
несли ордена и медали.

И вспомнилось все,
чем был жив человек,
порывистый,

храбрый

и нежный,

с какой крутизны начинался разбег
запальчивой жизни мятежной.

Как с юной поры

до глубоких седин

огонь Революции славил,
как, с верною Музой

один на один,

Пегасом уверенно правил.

Как с пылу,

случалось,

в потемках бродил,

плутал,

ошибался, но снова

в жестоком бою

на скаку находил

подкову правдивого слова.

И чем было больше невзгод на пути,
чем жгли испытания горше,
тем жарче

любовь клокотала в груди
к родимой, единственной —

Польше.

Она-то его на борьбу и вела,
он ею был вскормлен

и призван

на подвиг,

па выше в мире дела —

на смертную схватку с фашизмом.

Упрямый романтик,

поэт и солдат,

лукавый добряк и задира,

он внес свой

воистину пламенный вклад

в строительство нового мира.

...Мы низко склоняем рыдающий шелк,
согретый любовью народной.

Прощай,

наш товарищ!

Ты честно прешел

свой доблестный путь благородный!

Волчице нет покоя

Прежде чем сызнава очутиться
в русле главных своих замет,
я хочу

рассказать о волчице,

которой покоя нет.

Дар Микеланджело восхваляя,
на Капитолий

весь день-деньской,

прыгая,

шаркая, ковыляя,

движется

медленный род людской.

А рядом с лестницей, на припеке,
давно привыкшая к галдежу, —

в клетке волчица, зверь худобокий...

Все глазают, и я гляжу.

Мечется

тощая сука

молча.

Лучше б ей сверзиться в тартарары,
чем подставлять свою шкуру волчьей
под взгляды зевак

и под жуть жары.

Что ж поделаешь — посадили.

Дескать,

сиди и изображай

розовый факт из легенды-были,

добрую самку из хищных стай.

Мыкайся

символом сухопарым,

втягивай высохшие соски,

а если устанешь скакать задаром —

можешь немного повыть с тоски.

Зрелище скучное

и пустое,

жалкое, попросту говоря.

Возле решетчатой клетки стоя,

я обошелся без словаря.

Что это?

Знак старины, вестимо,

одна из мифических теорем:

дальняя мать основателей Рима

(были такие —

Ромул и Рем).

Но слушай,

строка моя,

будь откровенной!

Глядя на волчий скупой оскал,

образ Италии современной

я в этом зрелище отыскал.

Образ страны

в лихорадке стачек,

лик забастовочной маеты,

вид,

когда рваное пламя скачет

во взорах разгневанной бедноты.
Час,
когда вместо зарниц счастливых,
доброму помыслу вопреки,
оползни
газов
слезоточивых

вдруг заволакивают зрачки.
Ей ведь
действительно нет покоя,
знойной земле средь морской воды,
напоминающей гул прибоя
в поисках выхода из нужды.

М Алексей Арков

Ночь прокурора

На письменный стол прокурора
Глазами горящими ночь
Взирает с тяжелым укором,
Ничем не желая помочь.

На блюдечке — горкой окурки,
За окнами смолк разговор...
В короткой шевровой тужурке,
Склонившись, сидит прокурор.

Пред ним лотерейной таблицей
Знакомых фамилий столбец.
Дописана круто страница,
И речи дописан конец.

От ветра качаются шторы,
Перо просыхает уже.
...Но снова шаги прокурора
На нижнем слышны этаже!

Исполнена буква закона,
Но сердце — с законом не в лад.
В окно, как глаза осужденных,
Колючие звезды глядят:

— Не вместе ль, товарищ, с тобою
Месили на каторге грязь,
Сроднившись одною борьбою,
Одною цигаркой делясь!

Вставать нам под выстрел — не внове
И кровью рассвет озарять!
Но время свой суд подготовит,
Поднимется правда опять!

Рассвет настороженный близок.
И, должности наперекор,
Свою в обвинительный список
Фамилию внес прокурор.

...Раздвинуты шторы на окнах,
Багровое солнце встает.
Седой обвинитель, не дрогнув,
Наган именной достает.

Разрезал рассвет серебристый
Приглушенный выстрел в упор.
Из жизни ушел коммунистом,
Души не склонив, прокурор!

Л Михаил БВОВ

Мне положено быть
жизнерадостным,
Жизнеяростным, жизнезлым,
Жизнедвижущим,
жизнерадушным,
Жизнекрепким
и жизнекрутым.
Сын упорнейшего народа,
Из лугов — не из теплых квартир, —
Я ведь первый из нашего рода,

Из пастушьего бедного рода,
Вырываюсь в лирики мир.
Я не только перед странною
Отвечаю за облик свой —
Отвечаю перед роднею,
Это, критик ты мой, усвой.
И страна может и не заметить,
Что со мною
и как со мной, —
Нас ведь много,
смею заметить,

У страны —
у большой,
у родной.
А родня ничего не пропустит,
Все заметит моя родня,
И она уже не допустит,
Чтобы жалким был путь у меня.
Это я и за них трибуню,
И раскачиваюсь за столом

В Леонид Ышеславский

Баллада о солнце

Солнце стекало по лезвиям кос.
Солнце блестело на потных руках.
Солнце дрожало на крыльях стрекоз.
Солнце купалось в густых облаках.
К вечеру поймой прошли тягачи,
солнце они увезли за луга,
но всюду остались его лучи,
сложенные в стога.

Калитка

Больше всего на свете
человек беспокоился о калитке.
На железный засов
всегда —
днем и ночью —
была закрыта калитка.
Гости,
долго стуча,
вызывали хозяина.
Ветер
пробежал вдоль забора
и не мог пробраться в сад.
Звезды

К Владимир ОТОВ

Сияние Севера

Я не о снежных сияньях,
не о небесных явлениях,
не о красотах давних
и не о быстрых оленях.
Недаром шли россияне
на бой с мерзлотой,
на риск.

И захлебываюсь
на трибуне
Торопливым и жадным стихом.
Перед лестницей многоярусной
Наших трудностей
не дрожу,
Не растраченный,
жизнеяростный,
Марку нашего рода
держу!

засматривали во двор
поверх частокола.
И все же однажды
(на целую ночь)
осталась открытой калитка.
Ветер,
взяв разгон на шоссе,
врывался через открытую настежь калитку
прямо в сад
и там переворачивал все
вверх тормашками.
Звезды
целыми созвездьями
влетали
через открытую настежь калитку
и заполняли усадьбу.
Луна покатила
через открытую настежь калитку
под обвитую виноградом веранду
и припала губами к бочонку с водой.
А хозяин спал в своем доме,
не ведая,
что это старшая дочь его
возвратилась поздно с гулянья
и забыла закрыть
калитку.

Северное сияние
носит имя —
Норильск...
Я о твоём сиянье,
большой
человеческий труд!
Я о буквальном сиянье
могучих норильских руд!

Литература — это исповедь,
Под видом исповеди — проповедь.
Для тех, кто ненавистен,— отповедь,
Для всех, кого ты любишь,— заповедь.

Х Яков ЕЛЕМСКИЙ

Я английский учу упорно.
Шуток дружеских став мишенью,
Всех пугаю своим топорным,
Невозможным произношеньем.

Знатоков ужасая тонких,
Я на уровне средней школы,
Как мальчишка, зубрю дифтонги
И неправильные глаголы.

Вслух читаю проникновенно
(Мне бы вытянуть на четверку!)
Адаптацию Марка Твена,
Информацию в «Дейли уоркер».

Не снижаю своих стараний
Над словариком и тетрадью.
Трудно. Возраст уже не ранний.
Устаю. Но чего же ради?

Что дает мне занятие это,
Если я доучусь едва ли
До вордсвортовского сонета,
До Шекспира в оригинале?

Я себе самому отвечаю,
Я другим не стыжусь признаться,—
Столкнуться хочу при встрече
С австралийцем или канадцем.

Основательно все обсудим,
Не смущаясь проносом странным,
Как прийти к соглашенью людям,
Как поладить несхожим странам.

Я уж пробовал. Строил фразы.
Шел сперва, как слепой, на ощупь.
Но меня понимали сразу.
Без посредников как-то проще.

Ступай, не бойся честных драк,
Душой ранимою пылай.
Но отличай щенячий лай
От злобы маленьких собак.

Пусть как равного полиглоты
В круг свой узкий меня не примут
Но сближаются все широты,
На земле изменился климат.

Будь я несколько помоложе
(Лет хотя бы десяток скиньте),
Изучил бы французский тоже,
Итальянский, испанский, хинди.

По душе мне занятие это,
Не чуждаюсь такой нагрузки.
Знаю — в разных углах планеты
Люди
так же сидят
над русским!

Краски

Вечерний луч в цветастых перьях
Расплавил пики синих гор.
Тонов не признавая серых,
Волшебно полыхнул костер.
О, эти краски,
краски,
краски!

Они, смущая и слепя,
Вобрали пламень азиатский
И вьюгу русскую в себя.

Оторванный от дома странник,
Среди чужих долин и скал
Цвета в их сочетаньях странных,
Как зачарованный, искал.
Искал, дерзанием пылая,
В закатах угли вороша.
Его к вершинам Гималаев
Влекла тревожная душа.

Была такая точка зренья
Седому путнику мила —
Не приземленность, а паренье,
Взгляд немигающий орла.

Он словно вглядывался в завтра,
Охватывая на лету
Почти космических ландшафтов
Загадочность и широту.

Ханжи тревожились: «Причуда!
Таких оттенков, право, нет.
Откуда это все? Откуда?
Где он узрел подобный цвет?»
И гладкописец исподлобья
Глядел, во всем лица черты
Ползучего правдоподобья,
А не высотной правоты.

Но вот, чертя свою орбиту,
«Восток» вошел из ночи в день.

Была Гагарину открыта
Земного шара светотень.
И, атмосферу пробивая,
Потоки солнца в мир лились.
Сверкала гамма цветовая,
Всем спектром полыхала высь.

Зеленым, голубым, лиловым
Лучилась горизонта грань.
Свеченьем небывало новым
Играла праздничная рань.
Цвела, тонов не зная серых,
Не зная блеклых полуправд.
И восхитился космонавт:

— Какие краски!
Чистый Рерих!

С Ирина негова

Слово

Как дикий зверь,
 постигший хитрость лова,
Из-под руки уходит от ловца
Не для забавы созданное
 слово
И прячется...
 под носом у слепца.
Иль загнанное,
 чащей или топью
Укрытое,
 таится много лет.

Трещат над ним, ломаясь, перья-копья,
Молчит оно.

 Но знающий секрет
Уже рожден.
 Владеет лишь одно им:

Успеть!
 Сказать наперекор всему!
И слово слышит зов.

 И, как ручное,
Идет за ним...
 Теперь внемли ему!

С Николай таршинов

— В Вильнюс?
— В Вильнюс!
Чего же проще!
Только стоит нам в поезд сесть...

Нас встречает литовка-теща
И степенный литовец-тесть.

Первым делом, конечно, к внучке:
— Ой, как выросла, погляди!
— Ну, скорее иди на ручки!
— Нет, ты лучше ко мне иди!..

Теща ей примеряет блузки,
Тесть какой-то еще наряд.

Ну, а сами с ней всё по-русски,
Всё по-русски с ней говорят.
Мол, литовский ей неизвестен,
Мол, скорее поймет она...
Слушал, слушал я тещу с тестем,
А потом и сказал:
— Ганà!¹

Вы минуточку помолчите,
Я вам вот что сказать хочу:
По-литовски ее учите,
А по-русски я научу!..

¹ Хватит! (литовск.)

Соловей

О чем поешь, волшебник маленький,
О чем? — скажи, не утай,—
Пока в твоей укромной спальне
Птенцы не вывелись твои?

Ничто тебе любые промахи
И неустроенный твой быт,
Когда в густых кустах черемухи
Высокий голос твой звучит.

О нет, ты не спешишь прославиться,
Как некоторые певцы...
А скоро ведь они появятся,
Твои горластые птенцы.

С утра до полночи работая,
Тебе летать, тебе искать,

Чтобы потомство желторотое
И пропитать и обласкать...

Пусть голос твой земля-кормилица
И не услышит в летний зной,—
Я знаю, песни сами выльются,
Но только будущей весной.

Как зазвенят в кустах оттаявших,
Как вспыхнут в предрассветной мгле!..
Ведь знаю я, что не оставишь их,
Пока живешь ты на земле.

И, твой весенний праздник празднуя,
С тобою грянут соловьи.
И все они — донельзя разные,
И все до одного — твои!..

Л Александр Лесин

Шла женщина и улыбалась

Шла женщина и улыбалась —
Уйдя в себя, не видя нас.
Какая вспомнилась ей малость
В дневной шумливый этот час?

Витрины на нее глазели —
А ей не надо ничего.
Кружился город каруселью —
Не замечала и его.

Не оскорби улыбки этой
Своей развязностью...

Она
Полна, улыбка эта, светом,
Воспоминанием красна.
О чем? А может быть, уместней
Спросить — о ком?

Но — нет же, нет,
Не будет нам с тобой известен
Улыбки маленький секрет.
И мне завидно. Мне охота,
Чтоб и меня, среди забот,
Вот так
улыбкой вспомнил кто-то
И через день и через год.

Т Людмила Атьяничева

Я горы не хочу обидеть.
И нет для этого причин.
Не каждому дано увидеть
Седую клинопись вершин...
Но с каждым днем
Все дерзновенней
Людские судьбы и пути.
Вершины —
Это лишь ступени
К высотам,
Ждущим впереди.

Весенние тиражи

Спят подо льдом речные воды,
Еще в пути капельник-март,
А в типографиях природы
Работы радостный азарт.
Полны задора и старанья
Невидимые мастера:
Подснежников переизданье
В стереотип сдавать пора.
И хоть дела идут отлично,
Природе дорог каждый час:

Стоп-парашют не годен... Горизонты
Не действуют... Проща...»
Зевок разрыва
Там где-то за предгорьями Урала.
Я не могу забыть до сей поры.—
Заплакала негромко стюардесса,
Закусывая губы, рвя перчатки.

Т Владимир уркин

Снег

Нет ничего неслышнее, чем снег,
Когда он мягко падает
На крыши,
На ветви,
На штaketники,
На всех
И все,
Что дышит
И не дышит.

Еще ты властен над его судьбой,
Над каждою снежинкою особо,
Пока она частицею сугроба
Не сделается волею слепой,
Пока она себя считает вечной
И верит в назначение свое...

Ты лишь ладонь ей протяни навстречу,
И — нет ее.

Нет ничего огромнее, чем снег,
Когда, в его объятия закован,
Лежит послушно мир материковый
С прожилками недвижущихся рек.

К Александр оваленков

Не сорванные цветы

— Откликнись, Ваня,
Куда ушел ты!
— Ау, Маруся,
Твой голос далек...

Они заблудились.

Лилово-желтый

42 Тебе расскажет об этом цветок:

А я стоял как будто оглушен.
...Мы, люди скоростей и расстояний,
Прославим тех, кому вверяем жизни,
И если где-то смерть в пути настигнет,
Пусть мужество и нас не покидает,
Как не покинуло оно радиста,
Что в смертный миг подумал о других!..

Он очень сильный — этот самый снег,
Он — бывший мягкий,
Бывший невесомый —
Теперь в одно громадное спрессован,
И перед ним робеет человек.

Он очень мудрый — этот самый снег,
Он — времени и жизни откровенье...
Он мне велит не доверять мгновеньям,
Пока они не спрессовались в век!..

Циолковский

Шагал.
К столу садился.
И устало
Опять шагал до первых петухов...
История в те ночи не считала
Его чуть слышных старческих шагов.

Еще нам громко в космосе идти.
Но он прошел — не разбудив планеты —
Решающую часть того пути,
Вышагивая
Здесь,
По кабинету.

Иван-да-марья —
Цветок полян,
Где, словно марля,
Повис туман.

Тебе незабудка поможет
Запомнить приметы дорожек,
Где сыплются в листья опушки
Ручья голубые веснушки;
А мне продолжение сказки
О чуде золотооком
Расскажут анютины глазки

В слове овражке глубоком, —
И звездочка дня — ромашка —
Меня уведет из овражка.

Глядится в пруд
Ночная фиалка,

Давний эпизод

Стихотворение в прозе

Безоблачный город, где мы с тобой живем, был бы построен с опозданием, если б в годы гражданской войны в воздухе не встретились два летательных аппарата. Один — моноплан, с трехцветными кругами на темных крыльях, и другой — биплан, с изображением красных пятиконечных звезд на светлых крыльях.

Аппарат, управляемый советским летчиком, двигался с небольшой скоростью. Мотор с деревянным пропеллером, медными выхлопными трубами помещался сзади

С Илья ельвинский

Три богатыря

Уже давно И. Л. Сельвинский занят поэтической обработкой былинного эпоса. Этот труд, как рассказывает автор, он предпринял по совету А. М. Горького.

Здесь печатается отрывок из поэмы о трех богатырях. Князь Вольга повелел Микуле Селянниковичу прислать к нему в подворье дочь свою Василисту в сеньные девушки.

Призадумался богатырь Илья Муромец,
Крепкую он думушку думает.

Говорит Василиста Микулишна:

— Ты про что же думушку думаешь?

Отвечает ей Илья Муромец:

— Про Вольгу того да про Владимира,
Дядюшку думаю с племяншом.

— А и что про них думаешь?

— А то про них-то я думаю,
Что чей корень, той и отростень.

— Ах, это мало радости,
Думушки твои про кореньюшки.

А там живут
Сом, ерш и русалка;

Там, в глуби омутов,
Водяной варит краски
Для наших стихов,
Для новой сказки.

гондолы. Металлические растяжки между крыльев биплана гудели; полотно на борту гондолы полоскалось и трепетало. Летчик управлял аппаратом, положив на сиденье кожаную куртку. Когда он таранил аэроплан с трехцветными кругами, мотор загорелся, пламя захватило гондолу, краснозвездные крылья и груда искореженного металла рухнули вниз.

Буденновцы подобрали в поле тело героя-летчика. Один из них взглянул в небо и увидел, как, распластываясь и переворачиваясь в ветровых струях, падает — как падает в пропасть лепесток цветка — старенькая кожаная куртка.

Ты скажи-тко мне, старая стариншина,
Еще что же мне нунечку делати?
Не пошлет к Вольге меня батюшка —
Будут батюшке рубить голову,
А пошлет — стану девкой челядинною,
Еще княжеской я полюбовницей,
А опосле отдаст меня богатырям —
Тому ле Мишке Данилову,
Тому ле Ваське Казимирову,
Але Дунайке Иванову...

Заплакала тут Василинушка,
Стонет, лебеда, убивается.

— Ты не плачь, не плачь, красна девица,
Еще нету беды той горести,
Чтоб ее с умом да не отважити.

— Да как тут ее отважити?
Стану я девкой челядинною...
Ино князь от слова откажется?

— Он, Вольга-то, от слова не откажется,
Да ведь слово — оно что яблочко:
С одного-то боку зеленое,
Так с другого бочка румяное.
Ты умей его, девица, повертывать.

— Это как же повертывать?

Усмехнулся старая стариншина:

— Князь Вольга говорил при молодцах,
Чтоб Микула свет Селянинович
Да отправил к нему свою дочушку.
Но ведь князь Вольга Святославлевич
Не сказал мне, Илье-богатырю,
Чтоб отправил к нему мою женушку.

Подивилася Микулишна,
Подняла она лицо мокрое
От тех от ладошек от беленьких —
Никак не смекнет, моя ласочка.

Говорит еще Илья Муромец:

— Только ты, Василиста Микулишна,
Кудерьки свои в воде вымочи,
В воде вымочи да и выкрути,
Опосля их в косы увязывай,
Да округ головы укладывай,
А и рыбьим зубом укалывай,
Потому как я у женушки
Не хочу кудрей распахнутых,
Уважаю косы строгие,
Строгие косы, трубчатые.

Как тут девица расхохочется:

— Ах ты эдакой!
Аль не ведаешь, старая стариншина,
Мудрую ту пословицу:
«Молодая жена — чужая корысть»?

— Ведаю, красавица, ведаю.
Не в версту я тебе, Василинушка.
Ты прости уж меня, нахвальщика.
Что тебе ветхие силинушки?
Тебе надобны ребятушки новые:
То ли Вольга Сеславлевич,

То ли Михайло Данилович,
Василий тот Казимирович...

Как схватил он, Илья, сошенку ту
За обжу ее обточену
Из того ракитова кустика,
Как метнул по дубу кряковитому —
Развалился дуб на черни ножовые.
Нахлобучил Илья железён колпак,
И пошел он во поле чистое.
Дал бы бог тишину ему способную:
Богатырское сердце заплывчато,
Заплывчато, да отходчиво.

Идет Илья, не оглядываясь,
Мелкие слезки роняючи:

Ах ты, старость моя, старым-старая!
Не колдована ты, не чарована —
Простым-проста, обыденная...
Не унять тебя, не размыкати,
Ни разрыв-травой, а ни папороткой,
Никаким таким словом заветным.

Как застигла меня во чистом полё,
В чистом поле застигла безоружного,
Безоружного, беззащитного,
Белым кречетом пала мне на голову.
Где ж ты, молодость моя молодецкая?
Где ж ты, удаль моя разудалая?
Я б такую девку под пазушки взял,
Под пазушки взял, над собой поднял,
Над собой поднял, на плечо сажал —
И она б у меня не плакала!

А теперь я — старая стариншина,
Седатая, бородатая...
Еще в силах я, старый,

дуб заломить,
Да не в силах девушку заворожить.
Ах ты, старость моя, старым-старая,
Старая ты старость, ску-у-ушна-йя!

А Маргарита гашина

На Мамаевом кургане

Уже он в травах, по-степному колких.
Уже над ними трудятся шмели.
Уже его холодные осколки
по всей земле туристы развезли.

И все идет по всем законам мира!
Но каждый год, едва сойдут снега,
из-под его земли выходит мина —
последний, дальний замысел врага.

Она лежит на высохшей тропинке,
молчит, и ждет, и думает свое.
А тонкие бесстрашные травинки
на белый свет глядят из-под нее.

По ней снуют кузнечики и мушки,
на ней лежат сережки с тополей,
и ржавчины железные веснушки
ее пытались сделать веселей.

Но — холодна, жадна и узколоба —
она не станет проще и земней!
Ее нечеловеческая злоба
все двадцать лет накапливалась в ней.

Добро и зло кипят, не остывая.
Со смертью жизнь сражается века.
И к мне прикасается живая,
от ненависти нежная рука.

Потом ударит гром над степью чистой,
и отзовется эхо с высоты.
И на кургане шумные туристы,
взглянув на небо, вытащат зонты.

Они пройдут по этой же тропинке
и даже не заметят возле ног
усталые дрожащие травинки
и след тяжелых кованных сапог.

Пускай себе идут спокойно мимо.
Пускай сияет солнце в синеве.
Ведь жизнь есть жизнь!
И все солдаты мира
и молодцы и бродят по траве.

Моя живая книжка

Она всех книг моих сильнее
и людям, стало быть, нужней

моих стихов, моих поэм,
еще не читана никем.

Пусть знаю только я одна,
как трудно пишется она
и сколько вложено в нее.
Но в ней бессмертье мое.

У этой книжки сто дорог,
и километры светлых строк,
и человеческие слова,
и бесконечные права!

Я эту книжку не пишу —
я на руках ее ношу!
Над ней пою, над ней молчу,
ее молчать и петь учу.

Но не молчит она — поет!
И мне работать не дает:
она болит — опять терпи,
она зовет — опять не спи!

Опять не спать до петухов,
опять — увы! — не до стихов:
всю ночь кричит сынишка —
моя живая книжка.

С Василий тепанов

Солнце

Рынок в Туле
Гудит что улей.
Павильоны,
ряды
Словно соты.
В сотах —
плоды,
Мед, соки.
Звучат певучие
Голоса женские:
— Яблоки лучшие,
Еф-ре-мов-ские-е.
— Бе-лев-ские-е груши,
Покупай,
кушай.—
Торговля идет,
Звенят монеты.
Покупают мед,

Арбузы-планеты.
Берут помидоры,
Огурцы хрустят.
Шутки,
споры,
Солнце в гостях.
Оно — на возах
В сочной капусте,
В улыбках,
в глазах,
В плеске,
в хрусте,
В каждой крынке,
В звонком бидонце.
Почем на рынке
Свежее солнце?
А солнце смеется:
— Не продается,
Доброму сердцу
Даром дается.

Сатирические миниатюры

Жители Олимпа

Живут два барда — два ашуга,
На олимпийском этаже,
И — так приятны
друг для друга,—
Что раззнакомились уже.

Чудеса перевода

(Не баллада, не ода)

Звучит
 питт —
 строка к строке,
Все ярче с каждым днем,—
Сперва
 на русском языке,
А после...
 на родном.

Миниатюрщику-халтурщику

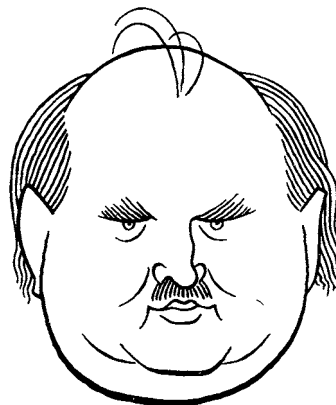
Твой творенья вороша,
От коих
 веет
 эсперанто,
Скажу,
 что краткость
 хороша,
Но...
 при наличии
 таланта.

О позиции оппозиции

Светит, радует, влечет
Соловьиное:
— Чок-чок!..—
А по мненью Таракана —
Лучше всех
 поет
 сверчок.



Василий КАЗИН



Сергей НАРОВЧАТОВ



Евгений ВИНОКУРОВ

Творческая оперативность

Он объявил:
— Стихи мои
Я посвящаю химии!..
.
От стихотворца
 близко
Есть вывеска —
«Химчистка».

Аттестация

— Каковы стихи поэта?
— Сам народ
 сказал про это:
«Цикал-цикал
 мотоцикл
И нацикал
Цельй
Цикл».



Людмила ТАТЬЯНИЧЕВА

В Михаил
ладимов

Искатель

Мыслями одними постоянно
У него забита голова:
Он у всех выскивает рьяно
Признаки знакомства и родства.

Похвалили юную актрису —
Цедит он с ухмылкой:— Дела-а!
Знаю достоверно: эта киса
С рецензентом шапки завела!

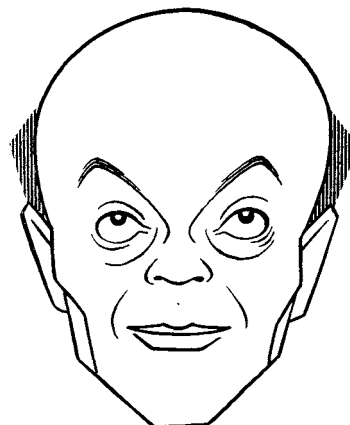
Получил квартиру сын соседа...
— Думаете, просто? Пустяки?
Он и председатель райсовета —
Оба из Сибири! Земляки!

Юбиляр представлен был к награде —
Стыскал он в тот же самый день
Протеже двоюродного дяди,
Прадеда троюродного тень!

Знаю я, что скажет злопыхатель,
Прочитавши этот фельетон:
— Не случайно здесь он помещен:
Ведь поэт — редактору приятель!



Борис СОЛОВЬЕВ



Давид САМОЙЛОВ

Л Владимир ИФШИЦ

Лирическое «МЫ»

Пародии

Кочерыжка

(Новелла Матвеева)

Я не чуждаюсь философских тем,
Поэзия без них грозит зачахнуть,
Как этот веник, пахнущий ничем,
Поскольку веник должен чем-то пахнуть.

Явленья жизни в сущности просты,
Не в соли — соль,
Я знаю понаслышке,
Что, оборвав капустные листья,
Добраться можем мы до кочерыжки.

Архи-археологическое

(Валентин Берестов)

Пустыней пробираясь через силу,
Мы раскопали древнюю могилу.
Увы, напрасно рыщут наши взоры,—
Здесь в древности орудовали воры.

Но, сохраняя к поискам привычку,
Я бронзовую отыскал отмычку,
И древнее орудие хищенья
Нас — археологов — приводит в восхищенье.

Юность

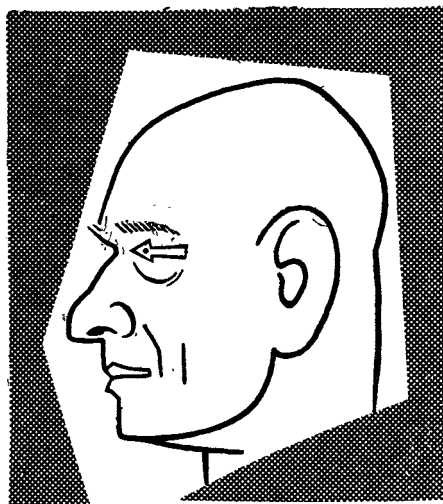
(Эльмира Котляр)

Мама
Стирала белье.
Это белье — было мое.
Мама стирала — старела,
А я стояла — смотрела.
Потом уют наладила.
Погладила.
Мама...

Работа

(Николай Анциферов)

Работал я в забое, как вельможа:
Работал я в забое только лежа,
Но из забоя на поверхность выйдя,
Стал, как поэт, работать только сидя,
И, наконец, не ведая простоя,
Со всех эстрад стихи читаю стоя.



Николай ГРИБАЧЕВ



Василий ФЕДОРОВ



Яков ХЕЛЕМСКИЙ

Добро

(Станислав Куняев)

Добро должно быть с кулаками,
Но если результатов нет,
Добру годится также камень,
Годится палка и кастет.

Хоть вывод мой и необычен,
Но если, после зуботычин,
Твой лучший друг на землю — бряк,
То это значит, ты — добряк.

Х Павел мара

Пародия

Брови

(Анатолий Поперечный)

Пусть обвинят меня в субъективизме,
Я повторяться буду вновь и вновь:
Нет органа важнее в организме,
Чем полукругом выгнутая бровь.

Мне брови нужны не для украшения:
Без них писатель — как без рук, без ног.
Я без бровей не только что лишенья —
И радости бы вынести не смог.

Бровями я люблю, смеюсь, рыдаю,
И многими замечено не раз,
Что, целясь в глаз, я часто попадаю
Скорее в бровь противнику, чем в глаз.

Когда я счастлив — бровь держу подковкой,
Когда сердит — ножом или стрелой.
Киногерой товарищ Ваня Бровкин
Мой самый почитаемый герой.

А в тот момент, когда пишу стихами,
Я сам себя порой на том ловлю,
Что поначалу шевелю бровями,
А уж потом мозгами шевелю.

Б Юрий лагов

Без дураков

— Приветик, Ван!
— А я не Ван
И сроду не был Ваном...
— Ты извини,
Но в наши дни
Не модно быть Иваном.
Мы имена,
Прилипшим к нам,
Дать светский блеск умеем.
Мы так хотим
И кличем «Тим»,
Покончив с Тимофеем.
Наш стиль таков,
Без дураков,
Другого не желаем,
Вот так возник,
К примеру, «Ник»,
А был он Николаем.

Понятно, Ван?

— Понятно, Ван!
— А я-то как стал Ваном?..
— Ты извини,
Но в наши дни
Не модно быть болваном!

За малым дело...

Земляк мой заработал ореол,
Он, став в науке деятелем крупным,
Известность мировую приобрел,
Оставшись и простым и всем доступным.

Я тоже быть хочу на высоте
И смею вас заверить словом честным,
Что начал приближаться к простоте...

Теперь осталось сделаться известным.

Однажды я разбил стекло

Нет, в жизни мне не повезло:
Однажды я разбил стекло.

Оно под солнечным лучом
Сверкало и горело,
А я нечаянно — мячом!
Ух, как мне нагорело!

И вот с тех пор,
С тех самых пор,
Как только выбегу
Во двор,
Кричит вдогонку кто-то:
— Стекло разбить охота?

Воды немало утекло
С тех пор, как я разбил стекло.

Но стоит только мне вздохнуть,
Сейчас же спросит кто-нибудь:
— Вдыхаешь из-за стекла?
Опять стекло раскокал?

Нет, в жизни мне не повезло:
Однажды я разбил стекло.

Идет навстречу мне вчера,
Задумавшись о чем-то,
Девчонка с нашего двора,
Хорошая девчонка.

Хочу начать с ней разговор,
Но, поправляя локон,
Она несет какой-то вздор
Насчет разбитых окон.

Нет, в жизни мне не повезло,
Меня преследует стекло.

Когда мне стукнет двести лет,
Ко мне пристанут внуки,
Они мне скажут:
— Правда, дед,
Ты брал булыжник в руки,
Пулял по каждому окну? —
Я не отвечаю, я вздохну...

Нет, в жизни мне не повезло:
Однажды я разбил стекло.

Я с ней дружу

Я осторожно по бревну
Иду через речонку,
А за собой тяну, тяну
Смешливую девчонку.

Она вопит:
«Ой, утону»,
Она хохочет звонко,
А я тяну ее, тяну,
Как малого ребенка.

Потом мы мчимся под дождем,
Мы прыгаем по лужам,
Мы под дождем
Друг друга ждем.
Да, я с девчонкой дружен!

Кричат мальчишки мне:
«Жених!»
Я злюсь, конечно,
Злюсь на них,
Но чувств своих не выдам,
Иду с небрежным видом.

Пускай хоть в школьный «Крокодил»
Строчат они заметку —
Я с ней дружу,
Я с ней ходил
И в лыжную разведку.

Она летит с горы крутой,
Летит и не поморщится,
А мне кричит:
«Боюсь! Постою!» —
Такая уж притворщица!

Позорное пятно

За партой Павлик и Тарас,
Сидят два друга милых.
Вот видит Павлик как-то раз:
У друга нос в чернилах.
Есть ход у Павлика прямой —

Сказать:
«Тарас, чернила смой!» —
И тот бы сразу смыл их.
Но Павлик требует, чтоб класс
Сказал Тарасу,
Что Тарас
Измазал нос в чернилах.
Вопрос выносятся не зря
На обсужденье класса:
Подумать только, вся ноздря
В чернилах у Тараса.
И обсуждается вопрос:

Каков Тарас?
Каким он рос?
И как дошел он до того,
Что нос в чернилах у него?
Заволновалось все звено:
— Нет, мы молчать не в силах!
Он и на нас кладет пятно,
Измазав нос в чернилах! —
И вот уже объявлен сбор
В защиту чести класса...
Нос, между прочим, до сих пор
В чернилах у Тараса.

Ч Юрий Чернов

Меня по имени и отчеству
Все чаще стали величать.
А мне туда, признаться, хочется,
Где могут кличкой венчать.

О, мир студенческий! Завидую!
Здесь спор всю ночь до хрипоты,
Здесь с Галилеем и Овидием
Не церемонятся — на «ты».

Здесь ехать к тропикам ли, к полюсу —
На сборы хватит двух часов:
Рюкзак набит да фляга к поясу,
И в путь готов, и будь здоров!

Тут прямота остра как лезвие,
Тут беспредельна доброта,
Тут правота — стена железная,
Лишь складки первые у рта.

В том мире важные, степенные,
Я помню, были не в чести,

Ко дню рожденья на стипендию
Я мог полкурса привести...

Студенты, Пушкины, Коперники,
Я — ваш, я с вами ем и пью.
Готов часами в зябком скверике
Ждать кареглазую мою.

Готов за сутки до экзамена
И не поесть и не поспать,
Все повторить,
а может, заново
Все изучить
и сдать на пять...

По циферблату стрелки вертятся.
Бегут часы,
звучит: не жди.
Я вновь студент!
И как мне верится,
Что все на свете впереди.

Г Дмитрий Олубков

Чарда

Кабачок рыбацкий — чарда,
Тяжкий свод средневековый,
Плесень — словно пена вин.
Свеч мерцающие чары,

Свет таинственно-лиловый,
Гулок погреб —
как огромный
Опорожненный кувшин...
Вдруг
стаканов содроганье,

Смех влюбленных,
сонный рокот
Нагрузившегося грузчика —
Затихает все:
Цыгане!
Погреб смолк

и стал подобьем
Корабля,
отплыть ждущего.
...Рукава рубахи белой,
Словно скатерти,

плеснулись
Шелковой бахромой,
И, блеснувши бровью черной,
Принимается за дело
Гитарист немолодой.
О янтарная гитара!
Ты — коварная гитана,
Ты, заламывая руки,
Мечешь золото колец,
Льешься речкой неустанной,
Рвешь затишье песней старой,
Окаянная гитара,
Разудалый сорванец!

...А девчонка-официантка
В музыканта влюблена,
В красной юбке плывет тюльпаном,
Несет, колебля, стакан вина.
Цыган глядит с угрюмой лаской,
Дрожит на лбу багряный шрам —
То память плети бухенвальдской,
Хлестнувшей по его глазам.
Цыган глядит и улыбается
И вьет напева кудрявый хмель...
Сейчас вся чарда закачается,
И стулья в чардаш разгульно пустятся,
И все грехи гостям отпустятся...

Но тут вступает виолончель.

Плачет черною печалью
Величая струна,

И колышутся,
И никнут стебли пламени оранжевые.
Все мгновенно замолчало.
И, вина не замечая,
Тишина тоскует в зале,
Чарду заворачивая.

Плач плывущий,
Душу режущий,
На снижение пошел.
Чарда,
как бомбоубежище,
затаилась...

И седой надменный немец
Смотрит в брови гитариста
И, закрыв глаза рукою,
Падает лицом на стол...

Весна устала приходить ко мне —
Здесь глубоки снега, и небо грязно,
И колки звезды в низкой вышине,
И вязнет взгляд в тумане непролазном.

И все-таки —
опять пришла весна...
Плеснулась в облаках голубизна,
И в роще гулко,
Как в порожней бочке,
И ночи пробужденные светлы,
И острее черемуховой почки
Твердеет наконечником стрелы.
Меж пальцев разомнешь ее —

и вот
Она листком раскроется весенним,
И сладостно
И горестно пахнет
Цветком,
воспоминаясь
и забвеньем...

Ш Юрий авырин

Зима

Зима
Как телеграмма
из Сибири.
Снега ее —
молочные круги,

И все переворачивают в мире
Ее неосторожные
шаги.
Как будто миллионы снежных крошек
В небесное продрались решето.
И стало все на улице
в горошек:

Автомобили,
Надписи,
Пальто.
Покрыт попоной белою
Булыжник.
И мимо запыленных аллей
Троллейбус
Пробегает,
Словно лыжник,
Покачивая палками троллей.
К стене на остановке припадает...
И снова под уклон
Берет разгон.

И вдруг
За поворотом пропадает
Разгоряченный
Слаломом
Вагон.
И хоть давно ударили морозы
И холодом стреляет
От земли,
Но
Никогда не цветшие березы
Черемуховым
Цветом расцвели.

И Фазиль скандер

Огонь, вода и медные трубы

Огонь, вода и медные трубы —
Три символа старых романтики грубой.
И, грозными латами латки прикрыв,
Наш юный прапрадед летел на призыв.
Бывало, вылезал сухим из воды
И ряску, чихая, сдирал с бороды.
Потом, сквозь огонь прогоняя коня,
Он успевал прикурить от огня.
А медные трубы, где водится черт,
Герой проползал, не снимая ботфорт.
Он мельницу в щепки крушил ветровую,
Чтоб гений придумал потом паровую.
И если неточно работала шпага,
Ему говорили: — Не суйся, салага! —
Поступок, бывало, пахивал жестом,
Но нравился малый тогдашним невестам.

Огонь, вода да медные трубы —
Три символа старых романтики грубой.
Сегодня герой на такую задачу
Глядит, как жокей на цыганскую клячу.
Он вырос, конечно, другие успехи
Ему заменяют коня и доспехи.
Он ради какой-то мифической чести
Не станет мечтать о физической мести.
И то, что мрачно решалось клинком,
Довольно удачно решает профком.
Но как же, шептали романтиков губы:
Огонь, вода и медные трубы?
Наивностью предков растроган до слез,
Герой мой с бригадой выходит на плес.
Он воду в железные трубы вгоняет,
Он этой водою огонь заклинает.
Не страшен романтики сумрачный бред
Тому, кто заполнил сто тысяч анкет.

В Ирина олобуева

А было...

Я птицей в закат устремилась багровый,
Меж нами стремясь одолеть расстоянье.
...А было,
что вдруг авиатор суровый
Забрать согласился меня на почтовый
Задаром. Наверное, из состраданья.

Я ветром неслась, ураганом тревожным.
...А было,
где ночь меня в поле настигла,

Вдруг встречный какой-то, в тужурке из
кожи,
Взглянув на меня, посочувствовал тоже
И взял на седло своего мотоцикла.

Волной я скользила в стремительном море.
...А было,
где травы рассветные дрогли,
Случайный водитель —
услужливый горец —
Меня подобрал на развилке дороги.

И кто-то помог мне взобраться в тот полный
Вагон, что, в наплывной горячке сезона,
Скрипел, и качался, как будто на волнах,
И все-таки ехал туда — к горизонту.

В тот город, где осень уже моросила,
Куда все несла меня дерзкая сила,
Которая дважды бывает едва ли.
...Спасибо вам, люди, что вы понимали!

Ш Борис аховский

Сужу об этом не со стороны.
В строю поэтов,
В звании солдата
Проверил лично,
Как они сильны —
Строка стиха
И строчка автомата.

Я видел сам,
Как лирика нужна.
Но зря твердят поэты о Поэте,
Что эта должность
Избранным дана
И самая труднейшая на свете.

Не требуя за вредность молоко,
Служи отчизне,
Не торгуясь с нею.
Поэтам настоящим нелегко,
Но есть на свете
Тропки потруднее.

Нужна
И для патронной гильзы медь,
И для трубы оркестра духового.
И все ж
О бое легче прогреметь,
Чем в бой идти
В шинели рядового.

Л Марк Исянский

Проводы

Мелькает девичий платочек,
Прощай, родительский уют!..
«Последний нынешний денечек»
Уже сегодня не поют.

Гармошка пьяная не плачет,
Спит колокольчик под дугой.
Другая армия — а значит,
И паренек совсем другой.

Перрон в осенней позолоте,
Цветы — в руках,
Цветы — вокруг.
Пришел товарищ по работе,
Пришел твой самый первый друг.

Ты здесь в кругу напутствий, шуток,
А сердце где-то впереди.
Отец, не спавший двое суток,
Кричит:
— Счастливого пути! —

Оркестр грохочет.
Кто-то пляшет.
Твоя любовь не прячет взгляд.

И только мать в сторонке плачет,
Как триста лет тому назад.

Умирают хорошие люди

Памяти Константина Мурзиди

Умирают хорошие люди,
Налетает, как буря, беда,
Мы прощаемся навсегда
С человеком, которого любим.

Он уходит,
Назад не вернется,
Вот уже он за гранью лет.
Ничего нам не остается —
Мы глядим уходящему вслед.

Мы твердим,
Прощаясь навек:
— Ах, какой он был человек! —
Был!
И больше его не будет:
Умирают хорошие люди!

И плохие, конечно, смертны,
В ночь уходят из наших дней.
Только это не так заметно.

В мире больше хороших людей!

Соловьиные голоса

Все глубже и все синее
Закатная полоса.
Все шире и все сильнее
Соловьиные голоса.
Все птицы сразу кончают
Рулады свои,
Когда весну величают
Загорские соловьи.
Одип по садам
Зацокал,

Второй — по следам
Защелкал,
А третий четвертому в тон
Рассыпал малиновый звон.
Один поет-упивается,
Заливается соловьем,
Другой — ему отзывается
На языке своем.
Вот певец новый,
А вот — помнящий перелет,
Этот — теноровый,
Баритональный тот.
Один — знаменитый,
Хотя совсем молодой,
Другой — именитый,
Соловей седой.
Один — в театре солистом,
Второй — запевала в строю —
Ударил солдатским свистом
Прямо в душу мою.
Птицы прекрасные,
Певцы — на подбор,
А голоса разные...
Это и есть хор!

Б Михаил еляев

В работу вхожу, как в дерево гвоздь.
Работу катаю, как бревна.
И зерна прошли
Через руки
Насквозь
И пали в поля удивленно.

Ломаясь,
Над пашнею бьются ветра.
Я звезды не сею,
Не вею.
Но в бороздах черных,
Как угли костра,
Пшеничные зерна желтеют.

Я крепко солю
И супы
И борщи,—
И слово и жар тяжелее.

И острою солью пропахли лучи,
И небо —
От соли светлее.

Присмотрена каждая крошка земли —
Без них
Не подняться
Веселью.
И руки мои через землю прошли,
В глубинах ее
Потемнели.

Я пашни держу,
Как держит гранит.
И мною притянута солнце.
Попробуй
На пашне меня пошатни —
Планета со мной
Пошатнется.

К

Александр
оваль-Волков

От себя мне никуда не деться.
Ты, отец, не сегуй на меня.
Мало мне, что бьется твое сердце
в каждой капле вечного огня.

Я везде искал твою могилу.
Тех сражений затерялся след.
Время ничего не сохранило,
на земле твоей могилы нет.

С

Борис
ибиряков

Космонавт-103

Вновь Левитан.
Не голос, а восторг!
Хватает за живое
все живое:
— На корабле космическом «Восток»
в одной кабине
вышли в космос трое.
Летят по неизведанным местам,
как на Земле программой указано.
Маршрут: Луна — Венера —
Казахстан.
Связь безотказна...

Земля сигналист:
— Дайте краски сферы
и силу притяжения Венеры!

— Докладываю:
сепия, кармиц,
ультрамарин, лазурь
и ортохром.
Земля, я — сто один,
я — сто один.
Прием, прием.

— Докладываю:
гамма такова, —
страница шесть,
пятнадцатый альбом.
Земля, я космонавт — сто два.
Прием, прием.

Земля сигналист
десять раз подряд:
— Сто третий!
Где сто третий?
Ваш доклад!

Не пришлось в атаку под Самбеком
рядом нам идти в тот страшный бой.
Разминулся я с тобой навеки,
годы пронесли над головой.

А теперь, чуть прошлое прихлынет, —
больно и обидно без конца,
что нельзя прийти родному сыну
на могилу павшего отца...

— Постой, Земля!
Не торопи. Постой.
Дозволь полюбоваться красотой.
Так вот она —
во всей спектральной гамме —
Милосская. С ногами и руками.
Летите, друзья,
обогнув звезду.
Я погуляю.
Я пешком дойду...

А на Земле
звонят в политотдел
и говорит
полковнику полковник:
— Сто третьего
ты, братец, проглядел.
Видать, он
тонкой лирики поклонник...

Идет в вечерних выпусках газет
сто третий от сто третьего сонет.

...Сигналист операторы с Земли:
— Ну как там —
космонавты спать легли?—
Сто первый:
— Разрешите доложить,—
сто третьего не можем уложить!..

Сын спросил...

Фронтвики всегда отважны.
Так в детстве думалось и мне.
Но сын спросил меня однажды:
— А страшно было на войне?

Фронтвики всегда отважны
для подрастающих парней.

И я ответил просто:
— Страшно.—
Но он:
— А что всего страшней?

И вправду — что?
В бомбежке первой,
в десанте
первого броска
от напряженья
рвутся нервы
со струнным звуком
у виска.

Тут агитация одна лишь
снимает страх,
смиряет дрожь:
— Что бьют в тебя —
ты это знаешь;
откуда бьют — ты это знаешь,
и сам ты бьешь.

И всякий раз
матрос был смел,
когда врагу
в лицо смотрел.
Но вот —
последнее задание.
Пустая улица длинна.
Нигде ни смеха,
ни рыданья.

И сквозь разрушенные зданья
просвечивает вся луна.

И кошки, кошки —
много, много —
в окне, на крыше,
у порога.

А снайпер —
подлая «кукушка» —
сидит за каждой трубой.
Тебе не видно,
как он мушку
ведет тихонько за тобой.

И ждут «кукушки» в темноте,
чтоб разорвать тебя
на части,
разинув пушечные пасти
на твой
игрушечный «ГТ».

И страшно
потому, что враг
не показал тебе лица;
и что уже победа скоро:
дожить охота до конца.
И потому,
что мертвый город
страшней любого мертвеца.

С Николай идоренко

Прощание с лесом

Лес пахнет горькой древесиной,
Лежалым и сырым листом.
Дожди прощальный путь гусиный
Размыли в небе золотом.

Листвы последние охалки
Всю землю за ночь заметут.
Еще вчера грибные шляпки
Темнели и краснели тут.

Земля молчит, полна раздумий,
В уединенной тишине.
А небо мгlistей и угрюмей,
И раньше сумерки в окне.

В поселке нашем топят печи
И, как в тумане фонари,
Мерцают окна издали
Багровым светом изнутри.

Тумана тусклая завеса
Висит на ветках до утра.
Не всходит солнце из-за леса,
Хотя уже всходить пора.

Нет, нет, рассветы не сгорели
За полуночную чертой.
До пробуждения в апреле
Прощай, зеленый, золотой!

Прощай до возвращенья с юга
Усталых и счастливых птиц...
Идет зима, а с нею вьюга
И снег метельный — без границ.

Поэту

Пускай тобой не ода спета,
Пускай пегромом голос твой:
Когда в строке судьба поэта —
И правда времени с тобой.

Но если ты собьешься с толку,
Фальшиво струны теребя,
Грусти, пожалуй, втихомолку,
Пеняй на самого себя.

В Игорь ОЛГИН

Не брани меня, мама,
я вновь уезжаю на Север.
...Меня море
мотает,
как только что спущенный сейнер.
Меня море мотает —
это, видимо, книжек полезней.
О, морская болезнь —
исцеленье от всяких болезней!
Как подбитая рыба, смеркается солнце
багрово.
Оно бьется в сетях —
я не ведал
такого улова!
Не тянул якорей,
из железных котлов не обедал.
Я не ведал морей —
я так многого в жизни не ведал!
Не кори меня, мама.
Мне в сердце вселяется Север.
Много хлеба я съел,
но его я ни разу не сеял.
Много шуток шутил —
только это все слабенький юмор.
Много сказок слышал —
да своей ни одной не придумал.

Не музы старятся, а чувства
И опадают, как листья...
Отступников казнит искусство
И отнимает все слова.

Не от праздных хлопков —
мои руки горят от канатов.
Я, не чуя боков, засыпаю
под всплески курантов.
Словно синие черти шалят в небесах
автогеном —
Я полярным сияньем
просвечен,
как будто рентгеном.
Ты прости меня, мама,
что я не пишу месяцами.
Это — белые ночи,
что с белыми схожи стихами.
Ледниковый период,
заря человеческой общины.
Это правильный климат.
В нем женщины — тоже мужчины.
Надо все самому.
Надо жить, обо всем беспокоясь.
Надо напрочь забыть,
что открыт кем-то Северный полюс.
И открыть его снова —
и это, ей-богу, немало!
...Я уехал на Север.
И ты не брани меня, мама.

Ч Феликс УЕВ

Разговор с любимой

Ты столько с детства
Вынесла в себе
Той чистоты,
Той искренности нужной,
Хоть нелюбимой
Выросла в семье,
Тростиночкой,
Печальной и послушной.

И, приклонясь
К вечернему стеклу,

Следила с замирающей обидой,
Как сверстницы
Смеялись на углу,
Косясь на окна,—
Думают, не видно!

Я был далёко.
Очень далеко!
Я жил тогда вдвоем
С братишкой Сашей.
Мои друзья —
С друзьями все легко! —
Мне приносили хлеб
И даже сахар.

Ну что с того,
 Что вырос я без мамы,
 Чертополох, бурьян —
 Ни дать ни взять!
 Меня ломали,
 Да не поломали,
 Зато теперь попробуйте
 Сломать!

Не за мои,
 А за твои тревоги,
 Не за мои,
 А за твои дела

Мне откровенно хочется сегодня,
 Чтоб лучше всех
 Ты у меня была.

Той самой,
 Той девчонкою вчерашней.
 Пускай смеются! —
 Не стыдись ее.
 Казаться глупым
 Умному не страшно.
 Уметь бы только
 Что-нибудь свое.

К Алексей афанов

Мне уют и не нужен —
 Мне ли не привыкать!
 Пельмени — на ужин,
 Раскладушка — кровать,
 И под крышею мира —
 Лампа в тысячу звезд:
 Обжитая квартира,
 Во всю ширь,
 во весь рост...
 Ах, как звонко,
 как будто
 Бьют по шляпке гвоздя,
 Заиграют побудку
 Барабаны дождя.
 Подниматься — впрягаться
 В лямку нового дня.
 Мне давно уж не двадцать!
 Жизнь обмяла меня.
 Путь немалый исхожен.

Сто подметок истер.
 Год за годом.
 И все же
 Тянет в даль до сих пор.
 Сердце, что тебе надо?
 Ты, как громоотвод,
 Приглушаешь разряды
 Повседневных забот.
 Так пронзителен утром
 Звон зеленых берез!
 Это все-таки мудро —
 Принимать все всерьез!
 Жить, как есть, без ущерба,
 Нараспашку и впредь.
 Это все-таки щедро —
 Ничего не жалеть!
 Все иметь, не имея...
 Что стихи — пустяки.
 Для бумажного змея
 Нате
 черновики!

Г Григорий лазов

Я многое умел.
 И многое забыл...
 Бил молотком,
 не глядя на зубило,
 из пластилина
 всадников лепил
 и отмывал мазут
 озерным илом.

Я помнил
 многих ротных имена,
 и школьный стих
 «Вир бауен моторен»,
 и вкус вина венгерского,
 которым
 нас угощали,—
 крепкого вина!

Но это что!
 Я поважней знавал

события,
и вещи,
и уменье.
Их суть
у шелухи я отнимал,
чтоб памяти
доверить на храненье.

С Евгений АВИНОВ

Медаль «За оборону Москвы»

Дыша соляжкой, жаркою и горькой,
У Минина с Пожарским на виду
По площади неслась «тридцатьчетверка»,
Чтоб от столицы отвести беду.

Не знаю, жив ли он, танкист геройский,—
Растаял дым, и отгремела сталь.
Но ту минуту у стены кремлевской
Хранит на бронзе старая медаль.

У Дубосекова тревожными ночами,
Под Ржевом где-то в час лихих кручин
Нас люди окрестили москвичами.
Ну что же — москвичи так москвичи.

Т Марк АЛОВ

Нико Пиросмапи

Рождались гении не по капризу
Судьбы и не по щучьему веленью.
Что, если б Слава получала визу
К художнику-творцу являться Ленью?
О нет! Прибавь ты к четверти таланта
Три четверти труда... Такого сплава
Достаточно, чтобы родить Атланта,
Чтоб увенчала живописца слава.
О ком я говорю? О Пиросмани!
Он вывески расписывал, малярил,
Писал картины допоздна в духане,
Пока последний рупь не разбазарил.

Я вижу пред собою Сакартвело.
Тут захмелевшие кинто. Ашуги.
60 Коней строптивых укрощают смело

Но время вымывало,
как вода,
познаний немешающий избыток...
Мы помним то,
что помним.

Никогда
не проверяя,
что же позабыто.

А были мы из Нерехты, из Шуи,
Из ярославских и смоленских мест.
Не сетуя, свою судьбу большую
Несли по жизни прямо — не в объезд!

И время покорялось нашей силе,
И круто изменилось бытие...
Да, мы собой столицу заслонили
И ныне кормим, матушку, ее.

Да, это так! Надежней нет поруки,
Нет на земле добрей и горячей,
Чем эти
дело знающие руки
Прописанных в России москвичей.

Наездники лихие — князьки слуги.
Над пенным потоком — мост упругий.
А медвежата! Подойдут вразвалку
И корчат уморительные хари,
Когда вожатый даст понюхать палку,—
И пир гремит под звуки сазандари.
Гостей обходит рог вина заветный,
И «мравалжамиер» в час предрассветный,
Теснясь глубоко в сердце человека,
Вдруг вылетает голосом дрожащим,
Пока пугливо в горы через чащи
Уходит лань, заслышав дровосека...
То — Картли девятнадцатого века,
Которую оставил Пиросмани...
И он, всю веру вылив безотчетно
Пусть во встревоженное бегство лани,
Заставил полюбить свои полотна.

Полночные стихи

Тишина тишину сторожит...

Вместо посвящения

По волнам блуждаю и прячусь в лесу,
Мерещусь на чистой эмали,
Разлуку, наверно, неплохо снесу,
Но встречу с тобою — едва ли.

Предвесенняя элегия

Меж сосен метель присмирела,
Но, пьяная и без вина,
Там, словно Офелия, пела
Всю ночь нам сама тишина.
А тот, кто мне только казался,
Был с той обручен тишиной,
Простившись, он щедро остался,
Он насмерть остался со мной.

*10 марта,
Комарово*

Первое предупреждение

Какое нам, в сущности, дело,
Что все превращается в прах,
Над сколькими безднами пела
И в скольких жила зеркалах.
Пусть я и не сон, не отрада
И, меньше всего, благодать,
Но, может быть, чаще, чем надо,
Придется тебе вспоминать
И гул затихающих строчек,
И глаз, что скрывает на дне
Тот ржавый колючий веночек
В тревожной своей тишине.

*6 июня,
Москва*

Тринадцать строчек

И наконец ты слово произнес,
Не так, как те... что на одно колено,—
А так, как тот, что вырвался из плена
И видит сень священную берез
Сквозь радугу невольных слез.
И вокруг тебя запела тишина,
И чистым солнцем сумрак озарился,

И мир на миг один преобразился,
И странно изменился вкус вина,
И даже я — кому убийцей быть
Божественного слова предстояло —
Почти благоговейно замолчала,
Чтоб жизнь благословенную продлить.

*8—12 августа,
Комарово*

Зов

Ариозо доленте¹

И в предпоследней из сонат
Тебя я скрыла осторожно.
О! как ты позовешь тревожно,
Непоправимо виноват
В том, что приблизился ко мне,
Хотя бы на одно мгновенье,
В той, нам знакомой, тишине.

1 июля

Ночное посещение

Не на листопадном асфальте
Будешь долго ждать.
Мы с тобой в Адажио Вивальди
Встретимся опять.
Снова свечи будут тускло-желты
И закляты сном,
Но смычок не спросит, как вошел ты
В мой полночный дом.
Протекут в немом смертельном стоне
Эти полчаса,
Прочитаешь на моей ладони
Те же чудеса!
И тогда тебя твоя тревога,
Ставшая судьбой,
Уведет от моего порога
В ледяной прибор.

*10—13 сентября,
Комарово*

И последнее

Была над нами, как звезда над морем,
Ища лучом девятый смертный вал;
Ты называл ее бедой и горем,
А радостью ни разу не назвал.

Днем перед нами ласточкой кружила,
Улыбкой расцветала на губах,

¹ Название предпоследней сонаты Бетховена.

А ночью ледяной рукой душила
Обоих разом в разных городах.

И никаким не внемля славословьям,
Перезабыв все прежние грехи,
К бессопнейшим припавши изголовьям,
Бормочет окаянные стихи.

25 июля

Б Яков елинский

Грузчики Пирея

Раздавленные тяжкой кладью спины.
Костей, усталых от натуги, хруст...
То вверх, то вниз вдоль молчаливых пиний
несут они, пошатываясь, груз.

Как бы всю жизнь, от самого рожденья,
в седом поту, в мелькающей пыли,
земное проклиная притяженье,
несут они проклятие земли.

Ш Варлам аламов

Лицо

Нетрудно изучать
Игру лица актера —
На ней лежит печать
Зубрежки и повтора.

И музыка лица,
Послушных мышц движение,—
То маска подлеца,
То страсти обнажение.

Ф Николай лёров

Памяти Александра Ойслендера

Уходят старые товарищи.
Труба их провожает в путь.
А ветер моря, в скалах шарящий,
Стучится в каменную грудь.

Отрывок

Чтоб посланец давнего века
Из заветного сна Эль Греко
Объяснил мне совсем без слов,
А одной улыбкою летней,
Как была я ему запретней
Всех семи смертельных грехов.

1963

Провалы трюмов. Теплоходов пасти.
Нетерпеливых транспортов гудки...
Наверно, бог разъял весь мир на части
и впредссовал в квадратные тюки...

За шагом шаг. Как медленная кара.
А зпой бушует, камни раскалив...
Земля Эллады. Родина Икара.
Твои сыны сложили этот миф...

Актер поднимет бровь
Испытанным приемом:
Изобразит любовь
Или разлуку с домом.

Понятны лезть и месть,
Холопство и надменность,
Но силы нет прочесть
Лица обыкновенность.

Уходят моряки бывалые,
Храня свой воинский билет,
С той фронтовой поры усталые,
Не отдохнувшие с тех лет.

И мысль до них обыкновенная,
Наверно, так и не дошла,
Что это пуля та, военная,
Их нынче все-таки нашла...

З

Алексей
аурих

В шесть утра

Утром
мне,
улыбчивому парню,
вольно и легко.
Мир похож на душную пекарню —
дышит глубоко,
плечи разминает полусонно
в шесть часов утра.
В ноздри бьет из хлебного фургона
тминная жара.
Мир!

Гляжу на влажное от пота
строгое чело.
Хлебы печь — хорошая работа!
Было б из чего...
Мир рокошет новгородским вечем,
дел невпроворот.
Пахарь, пекарь —
мир мой мудр и вечен,
как его народ.
Только б душ высокость, поклик неба,
ход ночной звезды
были не дешевле корки хлеба
и глотка воды.

Л

Григорий
евин

Память

Иду по городу, где смолоду
Бродили, свежестью дыша,
И в каждом повороте города
Свой облик узнает душа.

Здесь восхищались мы героями,
Нас не страшил любой предел,
И здесь мы в сорок первом строились,
Наш строй изрядно поредел.

А после в город приезжали мы,
Руины видели кругом,

Смотрели — и не узнавали мы
Наш разоренный отчий дом.

Теперь руины все поубраны,
Повсюду новые дома,
И только боли той зазубрины
Не притупит весна сама...

О, как нам стать хотелось новыми,
Чтоб жизнь — без края и конца,
Чтоб были так же восстановлены
И наши души и сердца.

Н

Елена
иколаевская

Кто там кричит: «Я враг покоя!»?
О, знаю я навсрянка:
Он — молод, нет ли —
Ни с какою
Бедой не встретился пока.
Он, словно в драку, рвется в грозы,
От прозы жизни он далек,
Еще становится он в позу
Любителя крутых дорог:
Мол, беспокойство в них, тревоги,
В них трудностей — хоть пруд пруди...
А я —
63 Не трудностей в дороге,

Покоя я ищу в пути,
Не в четырех стенах —
В движении,
В освобожденье от беды,
В работе до изнеможенья,
В глотке колодезной воды,
В мельканье солнечного блика
Над затянувшим речку льдом...
Не знающим, почему фунт лиха,
Откуда же им знать о том,
Что трудность — не в преодоленье
Морских пучин, отвесных скал,
Что рядом, а не в отдаленье
Подстерегает нас обвал,—

В убежище надежных комнат
Беда нас без труда найдет,
Одна беда другую вскормит,
Одна другую приведет.
И не спасут на этой круче,
Хоть все усилъя напруги,
Ни ледорубы, и ни крючья,
И ни надутые круги...
...Пускайся в путь!
Пусть кровь — не лимфа —

Г Михаил
ОДЕНКО

Песня

Илье Глазуну

Я жадным телом землю обниму,
Прильну к ромашкам буйными щеками,
И только тут,
Взъерошенный,
Пойму,
Как дорог мне обыкновенный камень;

Как дорога гвоздика у плетня,
Бычок, взбрыкнувший у дощатой клетки...
Ну, как же так,
Скажите,
Без меня
Вы будете существовать на свете?!

Д Михаил
ЕМИН

Шоферы

Ковчег собой напоминая,
бушует чайная степная.
Здесь целый сонм
одежд
и рас.
Буфетчик — родом из Кореи.
Шумят бухарские евреи.
Жуют узбеки крепкий нас.
И у порога
в робах грубых
два паренька — издалека;
два белобрысых,
толстогубых,
зеленоглазых
паренька.
Они кирпичный чай смакуют,

Тебя ведет в чужом краю,
В подводных рифах,
В модных рифмах
Попробуй силу ты свою!
Рвись в небеса,
В земные толщи,
Путями землю оплети!..
Дай бог тебе как можно дольше
Искать опасностей в пути!

Куда уйдут
Холодный океан,
Материки, похожие на льдины,
Песец, попавший в голубой капкап,
Пожары дозревающей калины?

Куда уйдут туманные миры?
Я рвался к ним голодною душою...
Да. Как ни бейся,
Что ни говори —
Придет косая ведьма,
Успокоит.

О, раствориться б в песне навсегда
И ни конца не знать бы,
Ни начала,—
Чтоб колыхалась надо мной звезда
И море белым громом грохотало.

плов огнедышащий едят.

Они
об Азии
толкуют.

Они
на Азию
глядят.

Улыбки
в мокрых складках рта:
— Да, брат, экзотика не та!
— И чайхана — она иная;
простая чайная степная! —
...Струится сигаретный дым
из аксакальской бороды...
Так, об экзотике скучая,
за чаем,
в шорохе ветвей,
сидят друзья,

не замечая
всей экзотичности своей.
Сидят
в шоферских робах
грубых

два прибывших издалека
беловолосых,
толстогубых,
зеленоглазых
паренька.

И только на короткий миг
смолкают —
вспоминают оба
в барханах белых,
как в сугробах,
забуксовавший
грузовик;
и зной,
и злой восторг, с которым
хлебали —
за глотком глоток —
густой и ржавый кипяток
из перегретого мотора.

Пятнадцать лет спустя

Горелым логом
шли мы,
утопал
в зеленом плеске
прошлогодний пал.
Вскипал
и цвел,
обрызганный лучом,
осинник
над вершковым кедрочом.
И я сказал:
— Вон, хвойный лес глуша,
шуршат осины — вырасти спешат! —

А Виктор Фанасьев

Столица, тебя я оставлю,
вот только б дожждаться весны,—
хочу побывать в Судиславле,
где не был я с самой войны.

Все так же ли город бревенчат,
как в давние те времена,
и, шлемами звонниц увенчан,
дымит от темна
дотемна?

65

5 День поэзии

Но усмехнулся
спутник мой
спокойно:

— А все ж в земле
корнями глубже — хвойный...—
И снова здесь,
пятнадцать лет спустя,
брожу я,
вспоминаю и грустя.
Как годы мчат!
В той впадине зеленой
балует осень
смоляною кроной...
И лишь едва
листва осин

видна.
В колючей сердцевине кедрача,
беспомощно
и липко
лопоча,
колышется листва...
Бледна
она.
И я подумал, стоя перед ней:
что не спеша растет — всегда верней!
Стволы стройны,
как струны.
И звенит
тугой кедрач,
настроенный в зенит.
Гром происходит
из стволов высоких.
Они
в тени
накапливали соки.
За днями дни,
в свирепом напряженье,
росли они...
И нет
конца
движенью!

Все так же ли трактом старинным
под грохот разбитых бортов
сквозь город несутся машины
с людьми из больших городов?

И так же ли зимы суровы,
как та, в Сорок Первом, зима,
когда уходили в сугробы
по самые крыши дома?

Как матери тяжело бывало!
Метели гудели зимой,
и женщины с лесоповала
едва добирались домой.

А дома, устроившись рядом,
читали мы письма отца
и слышали грохот снарядов
и тонкое пенье свинца.

К Евгений ОКОНТАНТИНОВ

Пимы

До окон выросли сугробы —
Беда детдомовской зимы —
И нам,
 отличникам учебы,
На складе выдали пимы.
Я шел в пимах, как на колодках:
Пимов я раньше не носил.
Они качались, точно лодки,
Смирить их не хватало сил.
Стучащие, как деревянные,
Но по ноге —
 почти по ней!..
И был один в седых кудряшках,
Другой был чуточку темней...
Но было в них тепло, уютно —
На все сугробы наплевать!
Друзья в то утро поминутно
Пимы ходили примерять.
А Толька —
 мой сосед по нарам —
Просил сменить пимы на нож...

Л Александр ЮКИН

Сыновний поклон

За то, что мы строим,
За то, что мы пишем,
За то, что мы к звездам
Подняться смогли,
 За то, что живем мы,
 И любим, и дышим,—
Отцовскому хлебу
Поклон до земли.

А город звенел петухами,
и вечером тихим заря
над вечной землей потухала,
о мире сердцам говоря.

А утром на улицу выйдешь —
над городом вьются стрижи...
Как в озере сказочном Китеж,
живет он в глубинах души.

Но я сказал, что нож задаром
У деревенских отберешь,
Потом пимы поставил на пол,
От посторонних глаз укрыв...
А ночью Толька глухо плакал,
В подушки голову зарыв...
Он, значит, снова видел взрывы
И окровавленную мать.
...Я влез на нары торопливо,
Я стал соседа поднимать,
Я говорил:

 «Да брось ты, Толька.

Ну вот...

 Подумаешь — пимы!..

Двенадцать пар их было только,
Носить их вместе будем мы...

День — ты,

 день — я...

 и так износим...»

Растил сосульки потолок,
И ветер выл в окно из ночи
На боязливый фитилек.

Отцовской рубашке,
Пропитанной потом,
Отцовской сохе
И гнедому коню,
 Отцовским тревогам,
 Отцовским заботам
И даже
Отцовскому
С пряжкой ремню.

К Владимир улагин

В осеннем лесу

Такая тишь,
 что каждый шорох
В лесу
 невольно ловит слух.
В ложине,
 как бездымный порох,
Осенний мох
 и сиз, и сух.

Чуть слышно
 тенькает синичка,
А песня
 издали слышна...
И кажется:
 лишь чиркнешь спичку,
Взлетит на воздух
 тишина.

А Николай санов

О мастерстве

Тот человек, что из собачьей шкуры
твоей подруге сделал чернобурку,
подклеивая крашенный подшерсток
барсучьей остью волос к волоску,
был несомненно мастер.
 Но, признаться,
не по сердцу мне это мастерство.

И женщина, что за твоей стеною
по образу природы созидает
из разноцветных лоскутков и стружки
на проволоке выгнутой цветы,
она, конечно, мастер.

На охоте

Из тальника
 устроив будку,
В кустах, подернутых снежком,
Покрякивая,
 словно утка,
Маню я селезня
 манком.

Он на призывный крик
 стремится,
Куда его ни позови...
Весной убить петрудно
 птицу —
Она и смерти не боится,
Когда идет на зов
 любви.

Но вселяет
ее искусство ненависть в меня.

И если в дом, в котором ты хозяйка,
придет вдруг сваха, иль — что то же —
 шадхен,
чтоб, рассыпаясь в льстивых увереньях,
создать тебе подобие любви,
я постараюсь выставить их в шею,
хотя они — бог видит! — мастера.

Есть множество профессий самых
 странных!

Но я согласен век ходить без шубы,
цветов не трогать, жить на черном хлебе,
скрывать любовь, лишь не было б вокруг
подделок под талант и под природу.

К Яков озловский

Жена

Без водочки, без курева
Мог обойтись вполне.
Один лишь грех — погуливал
С другой на стороне.

67

Березка законная
Шумела, зелена.
Не раз ждала законная
До полночи жена.

А тут — беда нагрянула:
Оп, грешный, занемог.
Жена на мужа глянула —
И ревность под замок.

Нашли болезнь мудреную,
И, уж не помня зла,
Сама его в районную
Больницу отвезла.

И надо было вынянчить,
Сидеть над ним без сна.
Из нянечек не иначе
Святее всех — жена.

Она сидела около,
Не плакала, не охала.

За прошлое нисколько
И в мыслях не корила.
Одно шептала:
— Колючка! —
И с ложечки кормила.

Оседлых кочевников племя

Потомки суровых монголов,
В степи просыпаясь чуть свет,

Лепешки на темных мангалах
Пекут с незапамятных лет.

И доят вблизи желтоликих
Песков и сыпучих могил
Они в табунах полудиких
Хваленых, поджарых кобыл.

Из птиц у них беркут в почете,
И, как в стародавние дни,
Его обучают охоте
На левом запястье они.

Смуглы, словно глина, их руки,
И часто до пальцев сухих,
Как будто великие реки,
Вздуваются жилы, па них.

Не давят в степи винограда,
Здесь белую пьют араку,
И песню степенного лада
Умеют сложить на скаку.

Оседлых кочевников племя
Живет, как судил ему рок,
В крови его — древнее пламя,
В глазах — отраженья дорог.

Т Елизавета араховская

Перепела

Перепела, перепела летят
На юг, где солнце и зимою светит,
Где круглый год не облетает сад
И влажно дует черноморский ветер.

Но, пролетая ночью города —
Ослеплены сверканьем неона,—
Вдруг насмерть разобьются иногда
О камни стен и падают без стога.

На всем лету кончают жизнь они
И мягко рушатся на мостовую,
Приняв неоновых реклам огни
За солнечную теплоту живую...

Но горше знать, что человек большой,
Но, как дитя, на хитрости — не мастер,
Столкнувшись с чьей-то каменной душой,
Как перепел, вдруг разобьется насмерть.

Л Инна иснянская

Полярный соловей

Над тундровою поляною,
Где ягель один цветет,
Пупочка — птичка полярная —
Кружится и поет.

Я много бродила по свету,
Немало слышала я
И соловьиных подсвистов,
И самого соловья.

Но здесь, на далеком Севере,
Ах, полночь белым-бела,
Ах, пуночка — птичка серая —
За сердце меня взяла.

С чего бы звенеть так весело?
Я понимаю, в лесах,
Где уши деревья развесили,
Пробовать голоса!

И там, с удобствами всякими,
Не каждый третий — артист.

...Над хлебом оленьим — ягелем —
Кружится тонкий свист.
Не спрятаться здесь за дерево —
Все как есть на виду.
Ох, и звенит затейливо
Пуночка на лету.

Н Юрий Наумов

Инженеры

Забывая семейный уют,
Беспокойной доверясь природе,
Предпочтенье они отдают
Лишь технической литературе,
Где в строке
Ни оттенков чувств,
Ни придуманной модной рифмы,
Где очкастятся кобрами цифры,
Над которыми редеет чуб...
Но сдвигает мысль рубежи
Неизведанного,
Непонятного,

О рожденье кричат чертежи
Из пеленок белого ватмана,
И земля отдает руду,
Нефть вгоняет в стальные вены,
Догоняет ракета звезду,
Исчезают
Ночные смены,
И закусывают удила
Кустари всевозможных
профессий,

И растут
Инженеров дела,
Поднимаются
До поэзии.

Л Роман Левин

Памяти Назыма Хикмета

Русские весны, русские зимы,
Нежные руки русской земли
На голубые глаза Назыма,
По-матерински скорбя, легли.

Прогрохотали июньским громом,
Салютуя наперебой,
Над его кумачовым гробом,
Над тревожной его судьбой.

Скулы — скалами, камень — тело,
Сердце, словно сплошной рубец,
Отработало, отболело
За миллионы людских сердец.

Одаряло любовью женщин,
Не жалело любви друзьям.
В каждом деле и в каждой вещи
Оставляя всего себя.

Ни единой фальшивой ноты!
До чего человек красив
В пекле жизни, в пылу работы
И в бою до последних сил.

Он продолжится каждой строчкой,
Что назло роковым ночам
Сквозь тюремные одиночки
Прорастали, кровотока.

Поднимались у польских речек,
Чешских сел, чилийских скал,
Славя клеток турецкой речи,
Веря в Интернационал.

Принимая красное знамя
От полотнища до древка.
Не уходит поэт в изгнание,
А уходит поэт в века.

Год спокойного солнца

Астрономы и физики,
Вы поэты сперва.
Сколько смысла и музыки
В этих словах!
«Год спокойного солнца»...
Как звучит, черт возьми!
Так и эдак возьми —
Ни ругаться, ни ссориться,
Ни воевать,
Ведь и так можно эти слова толковать:
«Год спокойного солнца»...

Улыбаются физики.
Про себя говорят: «Дилетант».
Купол обсерватории —
Словно башней увенчанный тапк,
Тот, что намертво врыт был
У Пулковских грозных высот
Средь воронок и рытвин
В блокадный томительный год.
Жизни всей эпицентр —
Броней он к сердцам примерзал.
И сквозь прорезь прицелов
Глядели ученых глаза.

Близоруки, неловки,
Неумело свыкались с бедой
Звездочеты в пилотках
Под красной солдатской звездой.
Вы сражались, чтоб снова
Вернуться к своим телескопам,
Чтоб свершиться когда-нибудь
Гагариным и Терешковым.
Чтоб расчеты и опыты,
Лунным светом залитые залы,
Уникальная оптика
Чтобы жизнь, а не смерть отражала.

Мир открытый и формул —
Не остров, затерянный в море.
Он общительный форум,
Где люди дерутся и спорят.

«Год спокойного солнца» —
На солнце ни вспышек, ни пятен,
«Год спокойного солнца» —
И смысл этих слов необъятен.

И, враждуя веками,
Себе и земле на потребу
Этот год нарекаем
Мы годом Спокойного неба

И Спокойной земли,
У которой заимствуем с детства
Лишь один непокой —
Беспокойное сердце.

Л Григорий ЮШНИН

Железо

Пахнет гарью железо,
Пахнет старой ржой,
Но к железу я лезу
С откровенной душой.

Лезу я по траншее
В пекло самой беды.

Бьют, как пули, по шее
Капли зимней воды.

Трубы вылечить лезу.
Тяжело? Ничего.
Медом пахнет железо,
Если любишь его.

Т

Мария
ерентьева

Несправедливость нас разит
Смертельной вражьего штыка,
На сердце выжженном пылит
Пустыня серого песка.

Где бор шумел — там бурелом
И боль бессмысленных утрат,

А

Яков
КИМ

Весенний лес

Весенний лес нескладен и высок,
Как неуклюже скроенный подросток.
Шагает он вразброд, наискосок,
Весь в плесени, наростах и коростах.

Прогалы и угрюмые углы
Еще в свое не верят обновленье,
Березовые дыбятся стволы,
Как вскинутые топором поленья.

Но беспокойно в дремлющей тиши,
И воздух напоён весенней смутой
И немотой встревоженной души,
Самозабвенно отданной кому-то.

То журавлиный крик над головой
Истает в высях безответно синих,

Ж

Анатолий
ИГУЛИН

Бурундук

Раз под осень в глухой долине,
Где шумит Колыма-река,
На склоненной к воде лесине
Мы поймали бурундука.

По откосу скрепер проехал
И валежник ковшом растряс.
И посыпались вниз орехи,
Те, что на зиму он запас.

А зверек заметался, бедный,
По коряжинам у реки.
Видно, думал:
«Убьют, наверно,
Эти грубые мужики».

Но я с неправдою и злом
Сражалась, как простой солдат.

И даже в ранах, ослабев,
Отброшенная в грязь и снег,
Я не позволила себе
В тебя не верить, Человек!

То свежеекорившийся осинник
В глаза ударит зеленью живой.

А через месяц ты придешь сюда,
В лесной шатер, благоуханно-громкий,
Где время не оставит и следа
От молчаливой предвесенней ломки.

Лес будет пышен и неотразим,
С зеленой гривой, птиц разноголосьем,
Он позабудет безутешность зим
И неустройство запоздалых вёсен.

Ни прежней худобы, ни наготы,
Ни робкой жилочки, едва оттаянной...
И ландышей прохладные цветы
Раскроются, как маленькие тайны.

— Чем зимой-то будешь кормиться?
Ишь ты, рыжий, какой шустряк!.. —
Кто-то взял зверька в рукавицу
И под вечер принес в барак.

Тосковал он сперва немножко,
По родимой тайге тужил,
Мы прозвали зверька Тимошкой.
Так в бараке у нас и жил.

А нарядчик, чудака детина,
Хохотал, увидав зверька:
— Надо номер ему на спину,
Он ведь тоже у нас — зекà!..

Каждый сытым давненько не был,
Но до самых теплых деньков
Мы кормили Тимошу хлебом
Из казенных своих пайков.

А весной, повздыхав о доле,
На делянке под птичий щелк
Отпустили зверька на волю.
В этом мы понимали толк.

Трудная тема

Трудная тема,
А надо писать.
Я не могу
Эту тему бросать.

Трудная тема —
Как в поле блиндаж.

Б Александр алин

Русская речь

...И опять не засну,
Снова ты до рассвета со мной.
Все тебе я верну,
Самый радостный,
самый земной.

Пусть разверзнется грудь
От великого счастья любви,
Ты тогда —
не забудь —
Лучшим словом меня позови.

Г Александр атов

Старые паровозы

Не до блеска им, не до славы
На далеких русских путях!
И тяжелые составы
Не вести на больших скоростях.
Им — с трубой, как у граммофона,
И усталым, как человек,
Этим правнукам Стефенсона,
Доживающим свой век.

Л Семен ипкин

В бинокле

Этот немец в бинокле возник.
Приближался к реке.
Позади шла старуха, неся полотенце,
ведерко и мыло.

Плохо,
Если врагу отдашь.

Если уступишь,
Отступишь в борьбе,
Враг будет оттуда
Стрелять по тебе.

Я трудную тему
Забудь не могу.
Я не оставлю окопы
Врагу.

Я приду —
хоть на миг —
Из безмолвья пустынных краев,
Чтобы,
встретясь с людьми,
Поглядеть на бессмертье твое.
Только страстно желать,
Только —
трудную веру беречь...
Жизнь,
тебе исполать!
Исполать тебе,
русская речь!

В ослепительные, молодые
Наши индустриальные дни
То «кукушку» тянут они,
То маневренный, ждет приказа
Старикан, пока еще жив,
Чтоб локтями задвигать сразу,
Длинным свистом сумрак пронзив.
В дни, когда уже электровозы
Гордо мчатся по всей стране,
Но — запыхавшись и вчерне —
Рядом трудятся и паровозы.

Офицер. Туфли на босу ногу. Одет
налегке—
Словно мирное время здесь было.
Снял рубашку, штаны. Не жалела старуха
воды.

Он подставил ей голову, крикнул ей что-то,
быть может: «Живее!»
И пропал: опустился бинокль.
И тогда за труды
Взялся наш командир. Но правее...

Если можно сказать, что похожа земля
на ладонь,
То видны были танки немецкие,
как на ладони песчаной.
Дальномерщик сказал: — Меньше два,
право десять. Огонь! —
И огонь корабельный, нежданный
Налетел, в деревьях загудел, заблестел
синевой.

Р Майя умянцева

На селе

Бедра — широкие.
Талии — узкие.
Бабы в платочках — русские, русские...
Ноги — крепкие,
с икрами сильными,
Глаза — бедовые
под косынками.
Идут по дорогам,
в поле мелькают,
Смех их в подводах
в степи пропадает.
Сидят на скамейках
в цветах и горошинах
И смотрят мне вслед
глазами хорошими...
Иду вдоль села
первый раз
с коромыслом,

Л Владимир ифшиц

Грузинские пиры

Люблю грузинские пиры под управленьем
тамады,
Где собираются друзья
не для питья или еды,
Хоть спору нет, что от вина
идет там кругом голова,

Разом выросли взрывы, подобные розам
планеты погибшей.
Танки мухами нам показались в тиши
неживой,
Черной стаей, к бумаге прилипшей.

— А, видал? Тридцать штук раздавил! —
прохрипел командир. —
Погляди: вон старуха с ведром, рядом с нею
лежит офицерик, —
Он мне душу обжег! — Краткий, солнечный,
огненный мир
Обнял Волгу, и редкую рощу, и берег...

1942

А ведра
тяжелыми
гирами
виснут.
И слышу, вдогонку мне кто-то бросает:
— Смотри-ка как ловко,
а ведь городская!.. —
Стараюсь идти
с коромыслом легко я,
А плечи под ведрами
ноют и ноют.
Быть может, тогда
поняла я впервые:
Деревня — не только
луга заливные.
Деревня — не только
роща над речкой.
Деревня — под зноем
гудящие
плечи.

А для того, чтобы сказать друг другу
добрые слова,
Чтоб, высоко подняв бокал
или вином наполнив рог,
Ты объясниться всем друзьям
в любви и преданности мог.

Встань и почувствуй: ты — поэт,
 всех поименно назови
И тоже выслушай в ответ
 слова привета и любви.
Наш век, товарищи, суров,
 живем, тревогами дыша,

И этих добрых, братских слов
 порою требует душа.
Так пусть грузинские пиры
 ведут свой лад из рода в род.
Его донине сохранить
 мог только рыцарский народ.

Ф Ольга ОКИНА

В северном лесу

Брожу в лесу, обиды забываю,
Порядок справедливый навожу,
Березкам по-приятельски киваю,
С осинами по-дружески дрожу.
Жму лапу елке: хмуриться — не дело!
Влезаю на высокую сосну:
— Краса! —
Но в сердце вдруг похолодело,
Как будто нож по сердцу полоснул.
Черемуха.
Сосна.
Осина.

Ива...
Девчонки сплошь! Невесты чьи-то сплошь!
Где ж клены? Тополя? Где ж
 справедливость?
...Рябинушка! Поют, ты дуба ждешь?
Зачем тебе приснилось это чудо, —
Напрасный сон, напрасные мечты,
Здесь не расти дубам широкогрудым,
Могучие, опи слабей, чем ты.
Они чуть-чуть побольше солнца просят,
Чуть-чуть побольше ясных летних дней,
Они морозов наших не выносят,
Да им и землю надо пожирней...

К Осип ОЛЫЧЕВ

На железной дороге

Всюду —
 в направленье к виадуку —
Под витыми арками мостов
Надпись есть:
 «Прислушайся к звуку
Приближающихся поездов!»
Мчится поезд,
 не исчислить в тоннах

Груз его.
 А колеей стальной
Только слабый посвист вьется тонок,—
Не услышишь
 гибель за спиной.

Пусть грозою воздух неколышим,
Тишина —
 но будь всегда готов...
Ты закон запомни:
 звук неслышим
Приближающихся поездов.

П Джеме ПАТТЕРСОН

Живу я

Живу я в учащенном ритме,
подхваченный, как вихрем, им,
и добр я
 к людям,
 как Уитмен,

и к злу, как он,
 непримирим.
У вдохновения в плену
я беспредельность обретаю,
то где-то в космосе витаю,

то лямку бурлака
 тяну.
 О, исполинский роцчерк
 графика!
 О, свет, роняемый
 луной!
 И торсом обнаженным
 Африка
 мерцает
 за моей спиной.
 Каким чутьем я наделен!

Я слышу
 шествие процессий
 и по последним из концессий
 веселый погребальный звон.
 И в интересах новой темы
 я в межпланетном интервью
 со всей
 раскованной Вселенной
 на чистом русском
 говорю.

Т Валерий ур

Приглашение к циклу

Нам три вопроса искони дано:
 Что есть? Что было? И что быть должно?

Возьмем зерно... В себе таит оно
 Что есть, что было и что быть должно.

В нем бывший колос, будущий побег
 И хлеб насущный видит человек.

Ведь в нем самом, в самом совмещено
 Что есть, что было и что быть должно.

В душе моей на службе состоят
 Астролог, астроном и астронавт.

Они свести пытаются в одно
 Что есть, что было и что быть должно.

С молодых ногтей до предзакатных лет —
 Школяр, любовник иль седой поэт —

Ты триедин. Ты — цепь, а не звено:
 Что есть, что было и что быть должно.

И чем ни оглушай рассудок свой —
 Воспомянем, суетой, мечтой,—

Одним трудом ответить суждено:
 Что есть? Что будет? И что быть должно?

С Марк оболь

Марку Максимова

Забит в патрон спрессованный огонь —
 еще не окрыленная ракета.
 Я из патрона высыпал в ладонь
 алхимию немислимого цвета.

Развел ее покруче в кипятке
 и этими чернилами густыми
 писал стихи, тесня строку к строке,
 и выходили строки — золотыми.

75 А на бумагу сыпался песок.
 Блиндаж качался. Ночь тонула в гуле.

Я утром вышел — и шальная пуля
 пропела от виска на волосок.

Все было — и осколок, и фугас,
 а после и обиды, и попреки...
 Но остаются золотые строки
 и людям правду говорят о нас.

Звезда моя счастливая, ты где?
 О, сколько звезд сияют в небе черном!
 Я спрашивал поэтов и ученых —
 никто не слышал о моей звезде.

В негодовании дрожат.
Здесь дураку любому ясно,
Что стены сносу подлежат.
И,
 честолюбие отбросив,
Я весь,
 как времени завет,
Иду к решению вопросов,
Тянусь
 мучительно
 на свет.
Эй вы, прожорливые тени!

Здесь,
 под обломками стены,
Сломав упрямые колени,
Вы будете погребены.
А суть задуманных проектов
У нас
 великому под стать:
Чем будет больше
 в доме
 света,
Тем легче
 мусор выметать.

Павел анченко

Отчизне

Сверкает колос, герб твой украшая.
А я твой сын, и верить мне дано:

В нем жизнь моя — лишь малое зерно,
И только потому она большая.

Смихаил куратов

Слово к Енисею

Енисей, Енисей,
принимай своих гостей,
да со всех-то волостей:
с Волги, с Дона и с Кубани!
Ты клыки хребтов кабаньи
красноярые ощерь.
Открывай пошире дверь
в этот край своим гостям —
работягам... Знаешь сам, —
до чего ж они умельцы! —
к светлым дням проложат рельсы.
А тебе наперерез
уж такой взметнут дворец
Красноярской славной ГЭС,
что ни в сказке сказать,
ни пером описать!..

Кто придумал этак славно
чудо-кличку городку? —

Там, где был еще недавно,
скрытый в дальнем уголку,
в честь, мол, имени господня
монастырский древний Скит
(как он звался до сегодня!),

Дивногорск теперь стоит!

А в шести верстах — Шумиха,
где тебе, брат, воперек
перемычки гребень лихо
нашей волею пролег...
Мы с твоей природой в дружбе
и с твоей тайгой в ладу, —
и тебя зовем мы к службе:
будь у нас ты в поводу
и крути, крути турбины
по указке нашей, друг.
Енисей ты наш былинный, —
праздно жить нам недосуг!..

П а р о д и и

Моя многословная

Ах, итальянка, девочка, пра-пра-прабабушка!
.....
Одновременно нужен азиат,
Что нищенствует где-то и шаманит.

.....
Еще мне только не хватало ждать
себя так долго в сетях нелюдимых,
мужчин и женщин столько утруждать
рождением предков, мне необходимых,
и не рождаться столько лет подряд, —
рожусь ли?

(Белла Ахмадулина, «Моя родословная»)

1

Пра-пра-пра-пра-
Прабабушка моя!
Пра-пра-пра-пра-
Пра-пра-пра-пра-пра-прадед!
Скорей! Смелей! А то — не буду я.
Не будет этой строчки, этой пряди...

2

Роди меня! Прошу тебя — роди!
(А вдруг да нет? И жребий мой бездарен...)
Читатель ждет... два века впереди...
Чего ж ты медлишь? А еще татарин!
Но в сад бежит голубушка моя,
Чу... поцелуй... Я буду! Буду я!

Невольное изложение народной песни

Во саду ли, в огороде
Девушка гуляла,
В Ахмадулловой породе
Полку прибывало...
(Эх дед! еще дед!
А меня все нет да нет...)

Реплика Замечательного Жандарма

Я Замечательный Жандарм Его Величества!
Я угнетал народ на стыке двух эпох,
Но так как качество вдруг перешло в количество,
Вполне закономерно я подох!
Так мне и надо!

От автора

78 Каков мерзавец!

Еще от автора

Пускай была присуща вам кустарность
(Шарманка, обезьянка, храп коня...),
Примите мой привет и благодарность,
Все — люди, породившие меня!
Был не напрасен ваш упорный труд!
Я — тут!

Еще и еще от автора

Дорогой мой читатель! Ты глядишь орбело?
Что ж ты хочешь? Поэзия — это не ширпотреб...
Написала поэму. Я — Ахатовна. Белла.
Шли восторги по адресу:
Мне! Москва! До востреб!!!

Печальная история

(Н. Д о р и з о)

Колец так много
с бирюзой,
Что просто хоть
выбрасывай,
Стихов так много Доризо,
А я люблю Некрасова.
Эх, поздно я теперь
встаю,

Печальная история.
Я Доризо всю ночь пою,
Некрасова — тем более.
Я одного читать хочу,
Чтоб на двоих не
тратиться.

Кого куплю, о том молчу,
А слезы так и катятся...
Не пой, пластинка,
не играй,
Дай мне с любовью
справиться!

И тот, и этот —
Николай,
Но тот мне больше
нравится.

Урок танца

Не то это блюз,
не то
Румба —
большие ноги.

Добрые заборы Киевстроя
Пританцовывали в стороне.

Танцуешь легкая,
нарядная
На вечеринке выпускной.

(Николай Ушаков)

Тренированной ногою
Землю роет футболист.
Ты танцуешь, Бологое,
И лимонный пляшет лист.
От Москвы до Ленинграда
И обратно до Москвы
В танце мечутся ограды,
Полустанки, будки, рвы.

Т Виталий
атаринов

Абстрактная живопись
многим еще непонятна.
А это ведь
просто
цветные
родимые пятна.

Дар недомолвок
демагогам
боги дали.
И штопор
тоже прям,
коль не вникать

в детали.

Пляшет пиво в пенной кружке,
Пляшут, взявшись за бока,
Три попутчицы-старушки,
Два плацкартных старика.
Теплоход минует шлюзы,
Вагонетки возят кокс,
То ли шлюзы пляшут блюзы,
То ли кокс танцует фокс?
Танец. Он наделал — маг — бед,
Пляшут люди и зверье...
Что такое? Леди Макбет?
Стоп! В милицию ее!
Нет, танцуешь ты иначе,
У тебя в глазах добро!
Тумба!

Румба!

Кукарача!

Голубое серебро...
Золотые дни такие...
Но земля дрожит слегка,
Это мой любимый Киев
Вдруг ударил гопака.
Ты устала. Ты присядь-ка.
Ты восторгом пронзена.
В Киеве танцует дядька,
В огороде — бузина.

Жанр —
комедия.

Время —
давнее.

Место —
рай.

Бог поставил Еву перед Адамом
И сказал:
— Адам,
выбирай!

Обычно
страсть читать морали
гложет

Лишь тех,
кто сам грешить
уже не может.

Я Эм. нварев

Костыль

Есть у меня сосед Петро — сапожник;
Костыль с войны
и дергающийся глаз.
Чуть вечер — о событиях всевозможных
Мы говорим с ним власть, не торопясь.
Вот он заходит. Руку пожимает.
И прислоняет к стенке свой костыль.

И так он юно спорит, рассуждает,
Что я б ему десяток лет скостил.

Есть у него сложившееся мненье
О мире,
о войне с ее трудом.
И все его нелегкие сужденья,
Как доводом,
подперты костылем.

К Леонид озырь

Беженцы

Кони ржали.
Мычали коровы.
И дрожали
Пожары багрово.

Бомбы пели,
Осколки — как осы.
И скрипели,
Скрипели колеса.

По булыжным,
По пыльным и многим
Ой неближним
Военным дорогам.

Нас и грозы,
И ливни хлестали,
Бомбовозы
В пути настигали,

Нам казалось —
Земля ежечасно
Разверзалась
От взрывов фугасных.

Но сурово
В жару, в непогоду,

Сдвинув брови,
Шла мать за подводой.

Шла, в то время
Совсем молодая,
Шла за всеми
За нами — седая!

Нас качало.
Нас четверо — малых,
Одичалых,
Голодных, усталых.

Скрип. И ночью
И денно — нет силы!
У обочин
Чернели могилы...

Сорок первый!
Нелегкое лето!
Кров наш — вербы.
Укрытья — кюветы.

Взрыв — и пели
Осколки, как осы.
И скрипели,
Скрипели колеса...

Б Павел Огданов

Ливень в Москве

Ярился ливень над Москвою,
Прохожих всех пораспугал.
А Пушкин встал на пьедестал
И с непокрытой головою
И гром, и молнии встречал.
А там без кепки Маяковский,
А там без шляпы Горький шел.

Г Юрий ордиенко

Рассказ о винторогом козле

Рога
особенной посадки
над седовато-рыжим лбом...
Должно быть, ночью
запах самки
привел его
на этот бом —
на перевал крутой,
где стадо
искало каменную соль...

Догнав начальника заставы
за следовую полосу,
как редкий кадр кинокартины,
увидел автор этих строк:
клубил
стальную паутину
козел огромный —
винторог.

Вертел курбеты он
и сальто;
кидался с маху он в намет,
попавший
вместо диверсанта
в густое кружево тенет.

В копыта острые
обутый,
большой ноздрей пуская пар,
он рвал
невидимые пути
под резким светом
белых фар.

И было мне так хорошо,
Что я на улице московской
Таких попутчиков нашел.

Мы шли под бурю бесечно.
Иным грозу не превозмочь,
А с них — и бронзовых, и вечных —
Она лишь пыль смывает прочь!

Когда б не ночь была,
а полдень,
он мог еще остаться цел.
Но, как ни жаль,
винтовку поднял
начальник —
старый офицер.

Был час-другой
еще в запасе —
людей ждала еще кровать.
А зверь к тому же
был опасен —
не мог начальник
рисковать.

Но, дело знавший
и уставы,
солдат до кончиков бровей,
не знал еще,
служака старый,
души охотничьей своей.

Вот,
в силы собственные веря,
в холодный нож
и глазомер,
в единоборстве
встретить зверя!
А так...
Он это не умел.

Он спасовал,
хотя почетно.

И, чтобы душу отвести,
он зычно выругался:
— Черта
пошлет же, господи прости!

Мол, глупый зверь —
убить не трудно,
но и распутать — делу час.
И эту мысль
нутром, подспудно
солдаты поняли сейчас:

— Косматый дурень!
— Ишь ты, шельма! —
они решили в тот же миг.
Освободить его —
решенье
уже созрело в них самих.

Стянув рога ему арканом,
к утру управились.

— Агу! —
Заря брала,
всходя по скатам,
за высотой высоту.

Вступило утро в мир широкий,
и молча
весь отряд следил,
как зверь, красавец винторогий,
шатаясь,
в горы уходил.

Все выше, выше —
по откосам,
забыв, конечно, о бойцах,
туда, где снег белел
и козы
паслись на горных солонцах.

С Лев мирнов

Карелия

Там волна колебала
тень сосны и рыбацью ладью.
Там жила Калевала
с бурным веком моим не в ладу.

Убегали тропинки
от весны, от сверканья росы.
Увядали травинки,
и другие на смену росли.

Глушь ветвями качала,
зацветала лесная вода.
В щучьей пасти торчала
и кричала от боли звезда.

Что случится и статься
в том столетнем могло забыться?
А случилось, что старцы
взяли кантеле в руки свои.

Не на тонкие струны,
что в игре соловьиной пестры,—
а на звонкие стру
опустили те старцы персты.

Бородами качнулись,
и, пугая по чащам песцов,
рек и просек коснулись
загрубелые пальцы певцов.

Стала сладкою клюква
и пушистыми — кроны берез,
и из хищного клюва
самый нежный подснежник пророс.

И полезли хоромы
из земли, наподобье грибов,
и венцы и короны
с недостойных слетели голов.

И дорогу нащупал,
и пошел по дороге слепой,
и зубастая щука
подавилась полночной звездой.

Так гремело по рекам,
у далеких планет на виду,—
с нашим горестным веком,
с нашим радостным веком в ладу.

Х Иван арабаров

Земля

Вот и опять —
ни дождя и ни морока,
Дремлют поляны
в росе и тепле.
Здравствуй, земля
посвежевшая, мокрая,
Видишь,
я снова вернулся к тебе.
Здравствуй,
изба с потемневшей оградой,
Видишь,
к тебе я приехал опять.
Как мне хотелось
тебя обрадовать,
Как мне хотелось
тебя обнять!

Т Арсений арковский

Полевой госпиталь

Стол повернули к свету. Я лежал
Вниз головой, как мясо на весах,
Душа моя на нитке колотилась,
И видел я себя со стороны.
Я без довесков был уравновешен
Базарной жирной гирей.

Это было

Посередине снежного щита,
Щербатого по западному краю,
В кругу незамерзающих болот,
Деревьев с перебитыми ногами
И железнодорожных полустанков
С расколотыми черепами, черных
От снежных шапок, то двойных, а то
Тройных.

В тот день остановилось время,
Не шли часы, и души поездов
По насыпям не пролетали больше
Без фонарей, на серых ластвах пара,
И ни вороньих свадеб, ни метелей,
Ни оттепелей не было в том лимбе,
Где я лежал в позоре, в наготе,
В крови своей, вне поля тяготенья
Грядущего...

Здравствуйте, звезды
далекие, крупные
В небе безоблачном
и молэдом,
Здравствуйте, копны
зеленые, хрусткие,
Солнцем пропахшие
и молоком!
Снова заснул я
июльской полночью
На сеновале
в далеком селе,
Снова пришел
за советом и помощью
К милой и доброй
родной земле!

Но сдвинулся и на оси пошел
По кругу щит слепительного снега,
И низко у меня над головой
Семерка самолетов развернулась,
И марля, как древесная кора,
На теле затвердела, и бежала
Чужая кровь из колбы в жилы мне,
И я дышал, как рыба на песке,
Глотая твердый, слюдяной, земной,
Холодный и благословенный воздух.

Мне губы обметало, и еще
Меня поили с ложки, и еще
Не мог я вспомнить, как меня зовут,
Но ожил у меня на языке
Словарь царя Давида.

А потом
И снег сошел, и ранняя весна
На пыпочки привстала и деревья
Окутала своим платком зеленым.

Шиповник

Я завещаю вам шиповник,
Весь полный света, как фонарь,
Июньских бабочек письмовник,
Задворков праздничный словарь.

Едва калитку отворяли,
В его корзине сам собой,
Как струны в запертом рояле,
Гудел и звякал разнбой.

Там, по ступеням светотени,
Прямыми крыльями стуча,

Сновала радуга видений
И вдоль и поперек луча.

Был очевиден и понятен
Пространства замкнутого шар —
Сплетенье линий, лепет пятен,
Полет брачующихся пар.

Р Гарольд егистан

Акварели

Поэзия, великая река,
Твоя волна через века стремится,
Как мне понятно счастье ручейка:
Не раствориться,
А с тобою слиться.

Я главное не выразил пока.
Слова проходят как-то мимо, мимо...
Но я в пути.
Зовет неодолимо
Поэзия — великая река.

А осень неизбежна.
И она
Уже стоит у моего окна.
И смотрит, как деревья облетают.
Как на глазах тихонько тают, тают,
Когда листают ветерок листы...

Березке стыдно белой наготы.
Она стоит натурщицей смущенной.
А осень-скульптор месит глину сонно
И девичьей не видит красоты!

Не потому, что не люблю я город —
В нем я родился, вырос и умру,—
Но зимний лес мне бесконечно дорог,
Улыбчатый от солнца поутру.

Снег падает с ветвей. Мелькают звери.
Синицы трель, как искорка, зажглась.
И, тишиной плененный, вновь я верю,
Что жизнь хоть и прошла,
Но удалась.

И ты пришла. Мой дом нашла,
Метелям вопреки.
Сказала: — Двадцать лет ждала
У той лесной реки.

Добавила: — А ты — седой! —
Я промолчал в ответ,
Хотя прождал у речки той
Тебя я сорок лет!

Постой. Помедли. Не спеши
На огонек моей души.
Другой бы так я не сказал.
Другую б стал заманивать.
Но посмотрю в твои глаза
И не могу обманывать.

Глаза у тебя зеленые.
И чуточку удлинненные.
Они всегда удивленные:
— Откуда берется снег?!
Как плачут птицы влюбленные?!
И что ты за человек?!

Снова лес завьюжило.
Даль бела.
А следы как кружево:
Ты была.

А следы как новые
Год уже.
Ты прошла, бедовая,
По душе!

4 Михаил Чернышев

Рыбный базар

Рыбы,
рыбины,
рыбешки,
Крабы,
раки
и рачки,
Как ежи,
ерши-взъерошки,
Как быки, лежат бычки!
Переборы-разговоры,
Шуток соль
и просто соль.
Запах рыбы — запах моря —
Виснет плотной полосой.
Солнце щедро свет дарует.
Что там рыбный магазин!..
Как серебряные струи,

В Сергей Икулов

Бабушкины песни

Помню зимние вечера.
Снова дует сегодня с севера.
Входит в валенках со двора
наша бабушка, Алексеевна.

Из подойника молоко
льет в посудинки, дужкой брякая...
До спанья еще далеко.
Еще бабушка сядет с прялкой,
небольшой, но такой баской!
Словно в горенку глянет солнышко.
И закружится веретеньшко,
зажужжит под ее рукой.

Запотрескивают дрова,
свет заплещет у ног — в два лучика...
И придут ей на ум слова
песни старой про Ваньку-ключника.

Под жужжанье веретена —
прядись, ниточка, прядись, тонкая,—
поплывет по избе она,
и неспешная, и негромкая.

Вся страдание и печаль.
Вся о том, как княгиня коварная

Рыбы
льются
из корзин.
— Рыбы! Рыбы! Кому рыбы?! —
Голос, сильный на ветру...
Рыбы-слитки, рыбы-глыбы...
— Ладно, тетка,—
все беру! —
Полдень зноем не скупится.
С неба — жар,
а в небо — пар.
По веселым бродит лицам
Темно-бронзовый загар.
Рыбы —
волн морских осколки...
В городах и на селе
В сумках,
сумочках,
кошелках
Носят море по земле.

миловала-любила парня
Ваньку-ключника по ночам.

...Завывает метель в трубе
знобно, жалостно. А в избе
льется песня — печаль-забавушка.
И, раздумавшись о себе,
о злосчастной своей судьбе,
утирает слезинку бабушка.

Ой, не выюгою ли шальной
ее тропочка заматается!..
Песня льется, переплетается
с тонкой ниточкою льняной.

И протяжна, и широка,
и ничем таким не расцвечена,
выпрядается, бесконечная,
вместе с ниткой из кужелька.

Раздумья в полете

Расположившись в мягких креслах,
летим... Смешно сказать: летим!
Опять приносит стюардесса
бифштексы нам, и мы едим.
И запиваем крепким чаем.
И дым пускаем в небеса.

И что летим —
 не замечаем,
не ощущаем. Чудеса!
Земля под нами еле-еле
плывет в разводах облаков...

О господи, как тихо едем!
Как тут не вспомнить рысаков!
— Э-гей, родимые! —
вожжами
тряхнет ямщик, и — понесли,
тревожно прядая ушами,
вдоль-поперек самой земли.
Перевернут — не дай бог круто
рванутся в сторону!
А тут
всего пятнадцать верст в минуту —
везут тебя и не везут.
И ни столба, чтобы заметить,
как ты несешься, ни куста...
Все относительно на свете:
размеры, скорость, высота.

...И ты, поэт,
 свою вершину
преодолев, не меряй, брат,
успех свой собственным аршином,
не торопись на марш-парад.
И преждевременно победой
не уповайся, в рог трубя...
Такие ль
прадеды и деды
вершины брали до тебя?!

Все относительно на свете...

И все ж
 приятно
 свысока,
прикладываясь к сигарете,

смотреть вот так на облака —
не снизу вверх
 букашкой сущей,
не так, как смотрят на карниз,
а самовластно, всемогуще
и потрясенно —
 сверху
 вниз!

Весенний базар

Люблю заглянуть на весенний базар.
Там —

 вплоть до последнего ряда —
отличный товар, ходовый товар,
а имя товару — рассада.
Рассада?
А может, отрада? Да, да!
А может, надежда?
Я вежлив:
— Отрады,— прошу,—
 положите сюда...

И горсть, если можно,
надежды.—
Дородная тетья —
весенний загар
у ней на щеках под платочком,—
смеясь, подает мне веселый товар —
две горсти зеленых росточков.
И вновь в чернозем окунает до дна
ладони... **И** можно ручаться,
надежды, которые людям она
сейчас раздает,
возвратятся
под осень сюда.
И прогнутся борта
машин, что придут с огорода...
У тети дородной в глазах — доброта,
и вера — в глазах у народа.

Я Николай
кушев

Из цикла «У семидесятой параллели»

В.л. Ковалеву

Всё в снегу —
в густой скрипучей вате,
как и в том провьюженном краю...
Вот опять мне папирос не хватит,
чтоб припомнить молодость свою.

Мелочи, подробности, детали
вяжутся в сюжетные узлы.
Поезда друзей порасхватали,
на далекий Север увезли.

Вот и не встречаемся годами.
Что сказать им?
Только — добрый путь!
Нас по белу снегу покатали,
тоже повозили,
как-нибудь.

Он учил сурово,
мудрый Север,
мы его запомнили устав:
не мечтать о жатве,
не посеяв,
и о передышке — не устав.

Горечь неисправленных ошибок
отдает сивухой во рту.
Видно, в сердце
розовых прожилок
никогда я не приобрету.

Не пойму расчетливых и добрых,
что идут по жизни не спеша.
К безупречным,
ангелоподобным,
что-то не лежит моя душа.

Строгих,
неподатливых на ласку,
в ноги не валившихся люблю,
злых люблю,
напористых, горластых,
рук не покладающих люблю.

Если скажут слово —
значит, в жилу,
так, что непривычных валит с ног.
Есть в них настоящая пружина,
без которой
век идти б не смог.

В дальние
тревожные дороги
пусть друзей увозят поезда.
Пусть им светит
преданно и строго
странствий беспокойная звезда.

На исходе северное лето —
по десятку видимых примет.
Весь одет в парной туман рассвета
август —
хлебосол и густоед.
Осень, ветровая и рябая,
явится, немного пережда,
по сгоревшим листьям барабана
нахлыстом ядреного дождя.
Я пока еще в нее не верю.
Всей упрямой силой естества
на последнем солнце огневает
яркая, чеканная листва.
Как грибник заправского закала,
туесок подвесив лубяной,
ты идешь

и, чтобы не мешало,
солнце оставляешь за спиной.
На плече покатога оврага,
что колючим ельником порос,
рыжиков оранжевых ватага
в бусинах невысушенных рос.
Не ленись почаще нагибаться —
на тебя глядит со всех сторон
обложное русское богатство
леса удивительных даров.
Говорят у нас —
и это правда —
хоть кого возьмет она в полон,
та земля, что щедрою наградой
отмечает каждый твой поклон.

Начиная с околичностей,
избегая слов в упор,
ты опять о культуре личности
поднимаешь разговор.

Оправляя брючки узкие,
непреклонный, как судьба,
ты коришь покорство русское,
психологию раба.

Ты разишь словами колкими,
чтобы — в душу и до дна.
За твоими недомолвками
чья-то выучка видна.

Никого не упрекали мы,
что утратам нет числа.
Очень трудно, неприкаянно
наша молодость прошла.

Не играя в прятки с правдою,
не страшимся честных слов —
за колючими оградами
много сложено голов.

Мы вернулись.
Не убитые
ни цингою, ни трудом,
не с дешевой обидою
вспоминаем мы о том.

По-особенному больно нам
было, может быть, всегда,
что на шапке у конвойного
наша красная звезда.

Мы вернулись.
Но не каждому

разрешается пока
нашей болью, нашей жаждою
спекулировать с лотка.

И с застенчивостью девичьей,
принимая скорбный вид,
оглашать унылый перечень
личных болей и обид.

3

Вера
ВЯГИНЦЕВА

Они живут

Становится пустыней на закате:
Друзей ушедших больше, чем живых.
И вмешиваешься порой некстати
В дела и разговоры молодых.

Я их люблю — веселых и сердитых
Товарищей по цеху жарких строк,
Но в их чертах ищу непозабывших
Обличий спутников моих дорог.

И память всё меня уводит к милым
Промчавшимся мгновеньям и часам.
Она меня приводит не к могилам,—
К живым улыбкам, слову, голосам.

Не на пластинках голоса их слышим
(Успела слава записать не всех) —
Во всём, что видим, чем сегодня дышим,
Их мысли, их надежды, слезы, смех.

Не их ли бескорыстные порукой
Тому, что не бесследна красота?!
Нет, с ними нас не разлучить разлукой:
Сильней, чем смерть, их жизни правота.

И хоть они не за твою дверью,
А за непроходимым рубежом —
Они живут и будут жить, я верю,
Пока мы их бессмертье бережем.

Александр Блок

Забуду ли тот майский давний день,
Когда в аудитории московской
Увидела я профиль, как из воска,
И услышала голос горький, жесткий!..

В этих дней суровой повести
на тяжелые слова
только людям с чистой совестью
доверяются права.

Если выдюжили, выстояли
силой правды и любви,
значит, были коммунистами —
настоящими людьми.

Тот день отбросил дымчатую тень
На всё судьбою данное потом,
На все грядущие десятилетия,
И не могу ее с души стереть я:
Все мысли, звуки, отзвуки, соцветья
С тех пор напоминают мне о нем.
Какое это было колдовство!
С какой непререкаемою властью
Бросало в дрожь, похожую на счастье,
Трагическое страстное бесстрастье
Замедленного чтения его.
Всё кануло: восторги, брань и лесть...
Кем был он — бедным рыцарем, пророком?
Нет, он в другом был звании высоко:
Он назывался Александром Блоком.
Зачем я говорю: он был?

Он есть.

Матросы восемнадцатого года

Обросшие, с запавшими глазами,
Матросы восемнадцатого года,
Как дорога мне злая непогода
Тяжелого бессмертного похода,
Когда взвивало ветром ваше знамя!

Чуть запоете вы «За власть Советов» —
Подтягивает вам сама свобода,
А от бушлатов запах моря, йода...
Матросы восемнадцатого года,
Я слышу эхо песен, вами спетых.

О, музыки суровой вашей кода!
Из дальних дней в сегодня протяните
Незримые связующие нити,
Шагните к нам из прошлого, шагните,
Матросы восемнадцатого года!

П Юрий Анкратов

Дорога

Как ударяет в бубен
 массовик,
под грозный стук
срывающихся яблок
грохает кузовом грузовик,
переваливаясь
 с боку на бок.
За ним поднимается пыль.
Как модный поэт
 на эстраду,
разгневанный автомобиль
врывается
 на автостраду!
И вот,
 прогибая шасси,
покончив с медлительной
 скованностью,
машина летит по шоссе
со все возрастающей скоростью.
Земля улетает,
 как шмель,
за ней
 в круговое движение
и входит,
 как поезд в тоннель,
в орбиту ее притяженья.
Темнее, чем шахтная крепь,
под свист одинокой тростинки
вращается круглая стель,
как диск патефонной пластинки.
Но словно ударил оркестр —
качнулась вечерняя дрема,
и небо взорвалось
 окрест
раскатом весеннего грома!
Дорога —
 дымящийся шнур
в живом ожиданье известий,
сворачивая
 на Байконур,
теряется между созвездий.

Все это истина и правда —
движенье сердца моего.
Вот поезд медленно и плавно
ушел от дома твоего...

Светло, печально и тревожно
лежит березовый листок
над веткой железнодорожной,
идушей прямо на восток.

Что мне ответить на прощанье?
Будь счастлива в своей судьбе,
через леса и расстоянья
я стану думать о тебе.

А дни пройдут, как этот поезд,
покачиваясь и звеня.
Моя работа — вечный поиск.
И ты не забывай меня!

Там будет сумрачная тундра
и берег ровный, как тесьма,
и будет труд, и будет трудно
добиться от тебя письма.

Там с неба резкого на отмель
с размаху рушится гроза,
там станет ветер бить наотмашь
и солнце рвать мои глаза.

Там веет ветер, воеет ветер,
там дышит ветер на реке
совсем не так, как машет веер
в твоей смеющейся руке.

Но стать насмешливой и чинной
и умудренной не спеши, —
пусть будет трепетным и чистым
движение твоей души.

Пусть будет путь твой против ветра,
пусть против солнца самого,
но только пусть не против сердца,
не против сердца твоего.

Г Оскар Рачев

Руки земли

Руки рабочего —
руки земли.

Прочие —
тоже руки земли.
Земля же огромная —
грубая,

нежная.
Земля — это домны,
асфальт
и подснежники.
И руки —
такие же нужные, разные.
Чистые, грязные —
только не праздные!
Да разве же руки
Клиберна,
 Бидструпа
в творческой муче
нежность не выстрадали?!

С Юрий ИНИЦЫН

Вот так дождик!

Над притихшей
Стороной
Хлынул дождик
Проливной.

Припустился
По дороге,
Голенастый,
Тонконогий.

Налетел
Со смехом звонким
На девчонок
С высоты —
Только взвизгнули
Девчонки
И с дороги —
Под кусты!

Ф Герман ЛОРОВ

Ветер Братска

Мне грешно твои богатства
Не выхватывать строкой,
Бескорыстный ветер Братска,
Гнущей сосны над рекой,
Мне грешно, раздвинув кроны,
Не припомнить, как широк
Твой залетный,

А руки хирурга! —
путь их измерьте.
Руки,
в которых испуганно
плавают смерти...
Так зачем же порою
по грубости рук
мы о важности действия судим —
ведь руки
 меняют
и русла рек,
и русла кровеносных сосудов!
Руки земли...

Лугом,
 полям —
Полил!
 Полил!

По тропинкам,
По ромашкам,
По косынкам,
По рубашкам,
По гречихе,
По хлебам,
По березам,
По дубам!

Повернул
Над школьным садом —
И по крышам
С шумом,
С градом!

Распахнулись дружно
Форточки окошек —
Выплыли наружу
Лодочки ладошек.

Твой зеленый
Молодежный городок!
Мне грешно отдать кому-то
Под холодное перо
Подвиг первого маршрута,
Первый медленный паром,

Первый луч, в тайгу летящий,
Разомкнувший сопок строй —

Первый поезд, проходящий
Над притихшей Ангарой!
Вспомни, ветер,
Как на склоне,
Где работа горячей,
Ты бросал в мои ладони
Связки тросов и лучей,
Поднимал светло и хмуро
На стремительную высь —
Не предлог, не конъюнктура —
Просто стоящая жизнь!

Ты моя судьба и сказка,
Ты моя мечта и явь —
Бескорыстный ветер Братска,
Ветер синих переправ.
Я люблю твои улыбки
В зыбком пламени костров.
На строительстве великом
Ты — славнейший из ветров:
Все построишь, все разметишь,
Сдвинешь горы — попроси,
В ночь-полночь огнями светишь
Грузовых своих такси!..

Дунешь — облако светлеет.
Вспыхнешь — утро настает.

Раздувая все, что тлеет,
Все сметая, что гниет,
Ты опять летишь за мною,
Ты опять за мной спешешь —
От таежного зимовья
До лирических вершин.

Ну-ка, взвейся,
ну-ка, свистни,
Шевельни родной Парнас,
Ветер Братска бескорыстный,
Льющий золото из глаз!
Ветер Братска бесконечен,
Ветер Братска не случает.
Ветер Братска будет вечно
Широко водить плечами.

Сад

Хочу я стать каменотесом
И вырубить тебя в скале
Пленительной,
с девичьим торсом —
Такой, как ходишь по земле.
Чтоб нежные ложились краски
На мрамор плеч и мрамор рук,
Придвинуть даль к скале уральской
И радугу зажечь вокруг.
И, перекинув реки рядом,
Плотин каскады возвести...
И сад разбить.

И с этим садом
Припасть к подножью и цвести,
Чтоб в землю страсть с корнями въелась
И там затихла, в глубине,
Чтоб только листьев тихий шелест
Тебе напомнил обо мне...
Но вздрогнет твой холодный мрамор
И взгляд твой выразит испуг,
Когда мой сад светло и прямо
Ударит
яблоками вдруг!

3 Леонид АВАЛЬНЮК

Первая любовь

Далёко-далеко, где носят чуни,
Где юбки шьют из маскхалатов и мешков,
Где юноши и старики в кругу
Сидят
И курят крепкую махорку,
Где сотню отдают за молока махотку,
В краю войны и детства моего
Живет та девочка.

Она меня не знает.
Она Толстого вечером читает.
Не ходит на гулянку, не поет

91 И самогон со взрослыми не пьет.

Она красива. Черная коса
Чернее черной непроглядной ночи.
Огромные укромные глаза.
Я сплю и бормочу:
— Ах, эти очи! —
Я не влюблен. Мне слишком мало лет.
Я плохо кормлен, чтоб влюбиться рано.
Но на нее смотрю я как-то странно,
Как на прекрасный призрачный балет.
В ней столько тихой грации, игры,
По-городскому кроткого кокетства,
Что так и тянет выйти за дворы
И, разбежавшись, выскочить из детства.

Сто лет прошло.
За жизнью жизнь сменялась...
Ни тени сходства я не уловил.
Но по тому, как шла
И как смеялась,
Я понял вдруг, что встреча состоялась,
И мимо воли миг остановил.
Вечерний час за полночь забредает.
Смотрю и насмотреться не могу,

Вот скучно ей.
А вот она читает.
Вот туфли надевает на бегу.
Как просто все, легко необычайно!
Как молодо!
И что мне до того,
Что мы на свете встретились случайно
И что она не помнит ничего.

К Светлана узнецова

Осень. Стынет речка оловянная
У того, последнего моста.
Прихожу я снова покаянная
На свои родимые места.

Никому в друзья не набиваюсь,
Словно птица об одном крыле.
Прихожу и силы пабираюсь,
Чтобы снова жить мне на земле.

Чтобы радость, чтобы счастье дому,
Чтоб светлел надеждой и добром.
...Гнутея кедры, серебрится омуль,
И гудит всю ночь аэродром.

Оттого, что круты откосы,
Что дороги ко мне не близки,
Оттого, что слегка раскосы
У меня глаза по-сибирски,
Мне печалится, мне туманится —
Ну, а если судьба обманется?
Вдруг не друга ценю — врага,
Не глубокую душу — мелкую.
Я богата, моя тайга
Соболями полна да белкою.
И текут в ней реки великие,
И живут друзья разноликие,
И полны мои реки силою,
И зовет меня милый милою.
...Я богата, а мне туманится —
Вдруг большая судьба обманется.

П Леонид ОПОВ

Цикады

О, как они поют и как звенят!
О чем звенят —
понять не очень просто.
Порой мне кажется, что про меня,
В далеком прошлом
сельского подростка.

Про что-то сокровенное,
про ночь,
Исполненную красоты вселенской,
Когда «своей дремоты превозмочь»
Не в силах я,
про светлый образ женский...
А может, про тревогу той поры,
Когда в чаду военного угара

Цикад я слушал у Сапун-горы
В боях во время третьего удара.

Как после минометного огня
Они — не оглушенные — звенели
Вокруг меня,
 где плавилась броня.
И надо мной,
 где звезды зеленели.

Где мертвенно-холодные лучи
Пронизывали облачную вату...
И в той нелегкой памятной ночи
Я раны перевязывал солдату.

А он, солдат, планиду не корил
И, слыша гул далекой канонады,
Нет, не стонал, а тихо говорил:
— Послушай, доктор, как звенят цикады...

Идут года. Уже не про меня —
Про лунные, про чуткие ладопи
Они, цикады, все звенят, звенят
В Загорске,
 в Сочи,
 где-то в «Тихом Доне»...

К Борис уликов

Мы часто в жизни ошибаемся,
Несуществующее ищем,
С друзьями
 не на жизнь
 сшибаемся,
С врагами — делим кров и пищу.

Мы часто в жизни ошибаемся,
И проливаем сто потов...
Случайным людям доверяемся
И горько каемся
 потом.

Мы часто в жизни ошибаемся,
Жесть принимаем за броню...
Мы часто в жизни обжигаемся
И вечно —
 тянемся к огню.

Поэты врут.
Не станем ни травинкой,
Ни полем, ни звездой,
Ни зерном.
И что о нас там скажут
На поминках,
Для нас, для мертвых, будет
Все равно.

Так почему же
Мы не спим ночами?
Живые,
Мы волнуемся о том,
Как встретить смерть
Спокойными глазами
И стать звездой,
Полею
И зерном.

С Вадим емернин

Весело живется облакам!
Над водой,
 над горными отрогами
Хоть на Кушку,
 хоть на Абакан —
93 Синими, беспечными дорогами.

Ветер дует им всегда попутный,
Помогает выбирать маршрут.
Ну а если он слегка напутал,
Торопиться некуда, —
 дойдут.

Ночью светит им фонарь луны,
Звезды — неразменные монеты.
Облака в мечтах своих вольны,
Даже в будни празднично одеты.

Весело живет облакам!
Только вот какая незадача:
Попадая в грозовой капкан,
Облака, совсем как дети,
Плачут.

Не позабыть березке
лет,
Ронять не хочется листву...
Но молча кустику бересклета
Пылит цветами на траву.

Пуста холодная полянка,
Уже ни ягодки внизу.
Лишь у ольхи одна поганка
Стоит, забытая в лесу.

Ушел в отставку день погожий.
Гуляет дождик меж кустов.
Как будто с палочкой прохожий,
Остановился в поле столб.

Уже дубы дрожат от стужи,
Перед зимой ломая шапки.
И снегу
предрассветный иней
Готовит место для посадки.

З Анатолий аяц

В предчувствии свиданий

Я вижу в снах,
как, небеса качая,
медлительные сосны шелестят
и над Амуром
сорок тысяч чаек,
как в доброй сказке,
белые, летят.

И слышу я,
как приамурский ветер
трубит в рассвет,—
он буйствует в ночи,—
как, шерсть теряя,
бурые медведи
к Амуру рвутся
через кедрачи.

Но это сны:
я в сказках этих не был,
а явь была,—
я видел, как взхлест
со звоном
к ослепительному небу
воздели краны
сорок тысяч звезд!
И как, стряхнув с волос
бетонный порох,
читал рабочий

свой тяжелый стих,
как на глазах вставал
веселый город,
тайгу щадя на улицах своих!
И вот теперь
в предчувствии свиданий
с тобой, Восток,
твою страну любя,
я говорю —
и вовсе ты не дальний,
прости, Восток,
что я не знал тебя.
Простите мне,
захвоенные дали,
что этот край
я забывал не раз,
за то, что вы
меня так долго ждали,
а я считал,
что проживу без вас.
Теперь везде
открыто и счастливо
всю в золоте
Амурскую тайгу,
все серебро Татарского залива
я в сердце благодарном
берегу.

С Вадим икорский

Мне крымские края не новы.
Я отдых там знавал и труд.
Там загорелые коровы
колючки ржавые жуют.

И горы там с коровьей ленью
у моря синего лежат.
И кормятся подножной тенью,
и кормят каменных телят.

Д Сергей рофенко

Асеев

БолеЛ Асеев. Чуб его белел.
Старел Асеев. Быть умел ворчливым.
Всю жизнь болеЛ. Поэзией болеЛ.
Хотел, чтобы хорошее прочли вы.
Но всякое несли ему порой.
Он выгонял. Но приходили снова.
Он открывал, когда звучал пароль —
поэзии

пропзительное
слово.

Тогда он разговоры заводил
в отместку терапии, хирургии,
как несколько их было заводил:
Владимир Маяковский,

он,
другие.

В вельветовом костюмчике своем
читал свое.

Натаскивал пришельца.

Всей жизнью приглашал:

— Взорлим!
Вспоем!

Мечтал я, жертва самоМненья,
чтобы в истории земли —
впервые — на мои творенья
повсюду карточки ввели.

Но скоро понял я, что значит,
когда от звона струн твоих
хоть кто-нибудь светло заплачет
и примет хоть один твой стих.

Вернее
в нечисть

рифмами
прицелься! —

Халтуры не прощал. Не обещал
за трудный этот труд златые горы.
Поэзией болеЛ и завещал
хранить ее, как он хранил все годы.
Теперь у всех у нас сердца щемят.

На камне:
«Здесь лежит поэт Асеев».
И ветры поздней осени шумят
на запад и восток,

на юг и север.

И Ксении Михайловны беда —
беда влюбленных в стих десятков тысяч.
Вот и луна, бездомна и бела,
над городом проходит, в окна тычась.
Горит она безжизненным огнем,
в ноябрьских тучах без толку слоняясь.
Асеев умер.

Вспомним же о нем,
в бессонный час

над строчками
склоняясь!

К Дмитрий овалев

Страна детства

Там — хмарь.

95 И синие дожди берез.

И все неброско.

Туман там — теремами заселенный.

Там колоколенка на горке — как березка:

Сама белёна,

Клочки сырых газет,
Заржавленные банки —

Тень суеты людской,
Убогий беспорядок...

Нет, красоты лесной
Возвышенный упадок!

Пахучий, пестрый хлам
В похмелье непогоды
Напоминает нам
О пиршестве природы.

И отгуляли пусть
И птицы, и растения,
Не отвращенье — грусть
Внушает запустенье.

На тропке, в листвоной,
Кленовых звезд останки
Не отпихнешь ногой,
Как ржавые жестянки.

Лента

Есть в Киргизии старые села,
Где Полтавщиной пахнет кругом;
Те же мазанки, что и у Псела,
Голубеют снятым молоком.

На плетне — просыхающий глечик,
Сложен в карточный домик кизяк;

Точно ряд узкопламенных свечек,
Тополя украшают большак.

И не видно лишь дымчато-серых
Украинских вельможных волов,
Да едва ли и встретишь теперь их
Даже там, у полтавских ставок.

Вот в таком-то селе, в воскресенье,
Я заметил у хаты одной
Легковую машину под сенью
Шелковицы, от пыли седой.

Ярко-алую ленточку кто-то,
Видно в честь незабвенного дня,
Вплел в железную прорезь капота,
Будто в гриву лихого коня.

Старикам ли припомнились кони,
Что с гирляндами роз на шлехах
В размалеванном пестро фургоне
Выносили их свадьбу на шлех.

Или, сами светясь, молодые
Наряжали бесстрастный металл,
Чтобы радужно, как бы впервые,
Вместе с ними весь мир расцветал?

В доме свадьба топталась, гуляя,
И крепчал ее гомон хмельной,
И, как жилочка, лента цветная
Трепетала на шее стальной.

Д Олег Митриев

В дороге

К деревне под названием Синево
Спешу себе и, выйдя к большаку,
Издаю кричу:
— Отец, здорово!.. —
Какому-то чужому мужику.
Сидит он на телеге свесив ноги,
Покуривает, вижу, табачок, —
Один среди проселочной дороги
Такой обыкновенный старичок.
Он терпеливо ждет у поворота:
Дорога веселее с седоком.
«Отец!» — я говорю и отчего-то
Хочу, чтоб он назвал меня сыном.
Хранит глубинка русская, родная

Обычай тот, что дорог мне вдвойне —
Я своего отца почти не знаю,
Которого убили на войне...
Прошли года, и раны залечили,
Все глуше отзывается беда,
Но все же постаревшему мужчине
Сказать: «Отец!» —
Мне нужно иногда!
Услышать голос хриловатый, грубый,
Который может грозен быть и крут,
И, замирая, наблюдать, как губы
Забывшее: «Сынок», — произнесут.
Потом морщинки соберутся снова,
Как тропки у озер, у добрых глаз...
— Отец, отец, далеко ли Синево?
— Садись, сынок, доедешь в самый раз.

Дон

*Как бы написал о нем поэт
Ассоциаций Модернский*

...А мост через Дон
Стоит, как мастодонт!
С моста мой Дон
Смотрю с мадонной.
Дон — донор:
Сдает он кровь голубую.
Талдон мне скажет: «Да ну!»
Дон — Донжуан:
Обнимает голую любую,
Купающуюся в Дону...
Дон — Донкихот:
На мельницы набегает,
Бросая на них волну!..
Дон — доносчик:

Он с азов до Азова
Доносит
свою

струю.
Маститый мастак слова,
На мастодонте моста стою!
Вспоминаю царя Додона,
Дошедшего с войском до Дона.
И враг мой —
Коричневый подонок —
Временно гулял по Дону.
Но Дон оккупанта
Ох и купал!
Донял!!!
Из до нашей эры
Течет Дон по дну —
Водон в нем не переводится.
Да, он — тихий,
Но... в тихом Дону
Черти ассоциаций водятся!

Дружеские шаржи Иосифа Игина



Леонид МАРТЫНОВ



Сергей СМЕРНОВ



Сергей ВАСИЛЬЕВ

Марсианка

Шутка

В сто
столиц
ударил морзянка:
«ПО АРБАТУ ХОДИТ МАРСИАНКА —
СУЩЕСТВО С ГОЛУБОВАТОЙ КОЖЕЙ,
ОТДАЛЕННО НА НЕЙЛОН ПОХОЖЕЙ...»

Вот что рассказали две старушки:

- Заходила!
- В магазин «Игрушки»...
- Молодая!
- Конский хвост на темени...
- Ясно — из антихристового племени!
- Все в ней — руки, ноги — на шарнирах.
- Нашалила,
- Ох и нашалила!
- Поправляла шерстяную юбочку,
- ухватила жестяную дудочку,
- подала ненашенскую денежку...
- Омманула продавщицу девушку!

...Погналась за существом милиция —
но она исчезла, милолицая.
У таксиста вызывая жалость,
вся она в комочек нервно сжалась, —
и рванул он в сторону Москва-реки —
лишь сверкнули красные фонарики!

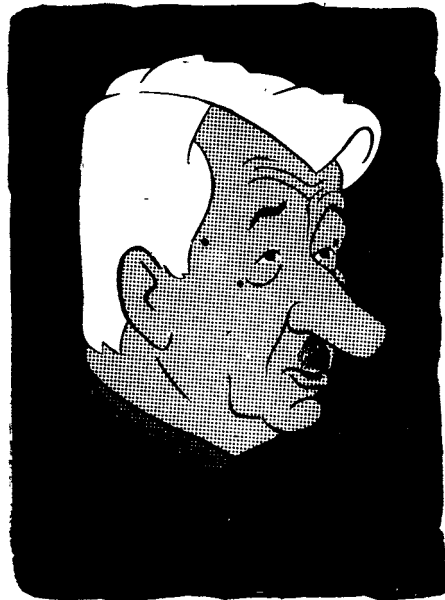
А потом помчался по бульвару,
где прохожий пел, обняв гитару:
«Эх, раз, еще раз,
еще много-много раз
прошвырнемся на Венеру,
пришвартуемся на Марс!»

Вот что рассказал таксист Салазкин:

— Лично я не верю в эти сказки,
в городе Москве туристов масса,
разве разберешь, который с Марса?..

...Люди ее приняли за дурочку —
но я слышу,
слышу эту дудочку!

Трубный глас
и красных фар сиянье —
это дело чисто марсианье!



Николай СИДОРЕНКО



Алексей МАРКОВ

С Михаил Авельев

Россия

На чем стоит Россия?
на лугах →
в ромашковых бескрайних берегах,
где в режм загляделись ветлы,
где крик петуший будит дрему
и синие стрекозы вертолетами
висят над водяным аэродромом...
На чем стоит Россия?

на горах —
где ночь, и дым походного костра,
где, как зеленые колокола,
гудят торжественные ели
и резок свист орлиного крыла,
усиленный мембраною ущелья...
На чем стоит Россия?

на морях —

где сквозь туман фонарь сигнальный
светит,
где траулер, от качки разморясь,
в глубины щедрые забрасывает сети...

Я шел сквозь солнечные ливни,
и рожь струила желть пылинок,
и с рокотапьем голубых электролиний
сливался звон перепелиный!

Меня несли шальные поезда,
и лайнеры вздымали на высоты,
и падала неслышная звезда
наискосок от трассы самолета.

Медовая, лесная, луговая,
нагорная, морская, зарева —
в высоких арках семицветных радуг
стоит Россия на труде и правде!

А Андрей Лдан-Семенов

Черный хлеб

Мой дед до жизни был охоч,
Хотя и жил не припеваючи.
В отце была земная мощь
И дух лесов неостывающий.

Со всей мужицкою степенностью
В работу верили они,
Рубили избы пятистенные
И выкорчевывали пни.

Высеивали рожь и просо,
Навоз возили на поля,

И корнем всех земных вопросов
Была для них сама земля.

И что мне радости пустые,
Успех без потного труда?
Мне вкусен черный хлеб России,
Из родников ее вода.

И тот, кто завтра во Вселенной
Зайдется горестью земной,
Тот вспомнит

хлеб благословенный ==
Обыкновенный,
аржаной!

Т Дина ерещенко

Когда б два сердца было у меня,
то все равно б они тебе принадлежали,
земля моя,
любовь моя!
Все радости
и все печали

твои —
моими были.
Я капелька в твоём сердцебиенье,
кровинка, что тобою рождена,
и мало сердца одного,
чтобы тебя любить.

Н

Иван
ИКОЛЮКИН

Мы грузили уголь на машины.
В лица нам хлестал колючий ветер,
Мы грузили уголь на машины,
Молча проклиная все на свете.
Скинув майки, голые по пояс,
Школьники из выпускного класса
Черными словами крыли поезд,
Что пришел из черного Донбасса.
Мы грузили уголь,
Пыль летела,
Угольная пыль в глаза летела,
И въедалась,
И вгрызалась в тело,
Будто нас живыми съесть хотела.
Вдруг один из нас, который с краю,

Опустил к ногам свою лопату,
Вдруг улыбок белых-белых стаю
Выпустили черные ребята...
Шла Она с распущенной косою,
Ветер платьем грудь ласкал и ноги,
Со своею броскою красою
Шла Она вдоль рельсовой дороги.
Проходя, лукаво улыбнулась:
Черти, мол, чумазые, что стали!
А у нас в душе весна проснулась,
А у нас в душе мечты играли.
...Мы грузили уголь на машины,
С ветром споря, злым и шалопутным,
Семь часов грузили на машины,
Счастьем одаренные минутным.

К

Татьяна
УЗОВЛЕВА

Речка О

Кто это выдумал — не знаю,
и осенило так кого?
Но речку малую назвали
одной лишь буквой —
буквой О.
Одно дыхание вселили
и дали радость и беду,
и крик ее:
— О, я застыну! —
дрожит у берега на льду.

Над нею сходятся высоко
такие черные леса,
и черно-белая сорока
к воде спускается скользя,

и белый снег в нее слетает.
Как зябка ей!
Как стужа бьет!
О! — лес задумчиво вздыхает,
О! — птица падает на лед.

А над Сибирью ветер сильный,
он гнет леса, он птицу бьет.
И речка малая застынет
и нехотя уйдет под лед.
И лишь на льду ее оббитом
и невесомо и легко
то удивленьем, то обидой,
то счастьем выдохнется —
О!

Г

Игорь
РУДЕВ

Миниатюры

1

Мы на зов мечты идем,
летим...
А мечта —
она какого цвета?

Небо океаном голубым
Звонко плещет в берега планеты.
А когда взлетаем в космос —

тьма,
Обступает холодом жестоким,
И уже зовет Земля сама,
Голубым
подмигивая оком...

Там было все решительно —
Любая благодать, —
Что корабельным жителям
Вовек не увидеть.

И мы, до слез захвачены,
Ловили каждый миг...
А сверху звали вахтенных
В суровый серый мир.

И вновь чужими муками
Мы мучились сполна...
...А наверху, над люками,
Шарахалась волна.

А Эдуард садов

Мещанин и обыватель
Про него бубнит весь век:
— Фантазер, пустой мечтатель,
Несерьезный человек!

Что ж, мечтам отнюдь не ново
Натыкаться на вражду:
С давних пор косятся совы
На сверкнувшую звезду.

И еще до книжной грамоты,
У пещеры, среди скал,
Предок наш, свежуха мамонта,
На товарища ворчал:

— До чего, мол, люди странные,
Есть жилье и сыт, так нет —
Вдруг пещеры деревянные
Стал выдумывать сосед.

Не свихни мозгов, приятель! —
Так бурчал-ворчал один
Первый, древний обыватель
И пещерный мещанин.

Шли века, старели горы,
Высыхали русла рек,
Но, как встарь, глядит с укором
Мещанин на фантазера:
— Несерьезный человек!

Эх, вы, совы-прорицатели,
Души, спящие во мгле!
Да когда бы не мечтатели,
Что бы было на земле?!

Усталые романтики,
Доверчивый народ...
Все было, как в грамматике,
Известно наперед.

Но каждый вечер, до ночи —
Все то же, вновь, подряд —
В салоне узкоплечный
Качался аппарат.

И правду мы не меряли,
Нам было все равно:
Мы старым лентам верили
И жаждали кино!

Вы бы вечно прозябали
Без морей и островов,
В самолетах не летали,
Не читали бы стихов.

Не слышали б, как роняет
Май росинку в тишине,
Не видали б, как сверкает
Спутник в темной вышине.

Что б вы там ни говорили,
Но, наверное, без них
Вы бы до сих пор ходили
В шкурах пращуров своих!

А мечта, она крылата,
А мечта, она живет!
И пускай ее когда-то
Кто-то хмурый не поймет!

Пусть тот лондонский писатель,
Встретив стужу да свечу,
Произнес потом: «Мечтатель!» —
Не поверив Ильичу.

Пусть бормочут, пусть мрачнеют,
Выдыхаясь от хулы.
Все равно мечта умнее,
Все равно мечта сильнее,
Как огонь сильнее мглы!

Мой привет вам, открыватели
Всех сокровищниц планеты!
Будьте счастливы, мечтатели,
Беспокойные искатели,
Фантазеры и поэты!

Главная роль

Неделя строительству отдана,
и вот от души, сокровенно
на сцену театра народного
выходит Мухортова Лена.

Ей в жизни огромного хочется,
но как себе это позволишь?
Вот в пьесе — ого! — она летчица,
а в жизни малярит всего лишь.

Казалось, ревпуя и жалуюсь,
невзрачно жила год от года.
Но вот открывается занавес —
алеющий бархат восхода.

Вдали горизонтом оправлена
степная просторная сцена.
Ты все поняла это правильно.
Кого же играешь ты, Лена?

Пусть летчице зрители хлопают,
и пусть они все знамениты,
в малярном призванье и хлопотах
есть тоже и взлет и орбиты.

Молчите вы, скептики хилые,
я вам заявляю отныне,
что в пьесе новейшей о химии
известны свои героини.

Бывало, слетаются девочки
и ахают около Ленки:
— Вот это, скажу вам, отделочки!
— Вот это, девочки, оттенки!

Иные — нежней и поласковой,
а этот, как праздник, открылся.
Любуются люди покраскою:
— Она в этом деле актриса...

А ей невдомек и не хочется
понять и самой убедиться,
что в пьесе — всего только летчица,
а в жизни — его! — мастерица.

Поющая химия

Кирпичи и лестничные марши
медленно взмывали в небеса,
и однажды

стройка стала старше,—
как ковбойку, скинула леса.

Издали глядим —
безлюдно вроде,
но внутри (недаром что весна)
маляры запели на заводе
синтетического волокна.

Их не видно.
Понимаешь это?
И с приходом утренней зари
кажется, мелодия напета
стенами,
оттуда,
изнутри.

В нотную тетрадь кирпичной кладки
вписывалась музыка весны.
Дирижер подъемный
на площадке
был во власти этой новизны.

Словно в хоре, выстроились окна,
подпевая,
приоткрыли рты...
Ко всему хорошему оглохла,
если ничего не слышишь ты.

Я хочу сказать тебе о многом,
вспомнить,
как, восторга не тая,
выступает с песенным прологом
химия поющая моя!

Думается все же иногда мне:
человек проигрывает тут,
если мрачен он,
а рядом камни,
даже камни запросто поют.

Ты молчишь.
Обдумываешь что-то.
Ты улыбку прячешь до поры.
И в душе твоей
идет работа,
словно там запели маляры.

Пусть еще томит тебя досада,
и, однако, что ни говори —
человек
не завершен, как надо,
если не поет он изнутри.

Наши крылья

Скорости — испытывают небом.
Горести — раздумьем и покоем.
Мудрецов — испытывают гневом.
Храбрецов — испытывают боем.

Ветер — проверяется дыханьем.
Вечер — проверяется звездю.
Служба — проверяется дерзаньем.
Дружба — проверяется бедю.

Стройками сегодня — на орбиты.
Стойкие сегодня — знамениты.

Хилые сегодня — вне усилья.
Химия сегодня — наши крылья.

Скорости — не скорости во прахе.
Горести — не горести в напеве.
Храбрецы — не храбрецы во страхе.
Мудрецы — не мудрецы во гневe.

Ветер без дыхания — не ветер.
Вечер без созвездия — не вечер.
И не служба — служба без тревоги.
И не дружба — дружба без подмоги.



С. Трегуб
В. Федоров
Ю. Друнина
М. Львов
Г. Оганов
А. Михайлов
З. Паперный
А. Барто
В. Полторацкий
И. Мотяшов
Е. Осетров
А. Марков
К. Ваншенкин
М. Лобанов
Н. Степанов
А. Коваленков
А. Дымшид
Е. Мозольков
С. Баруздин
А. Заяц
С. Машинский
Л. Левин
Ф. Светов
И. Гравберг
В. Деметьев
В. Григорьев
Н. Родичев

руглый стол

дня
поэзии

Все чаще стали звучать с эстрады стихи. У одних это вызывает восторг: поэзия пошла в народ. Другие испытывают чувство тревоги: не отразится ли увлечение эстрадными выступлениями на общем уровне поэзии, не будет ли она подлаживаться под вкусы не всегда взыскательной публики? Редколлегия нашего «Дня поэзии» пригласила поэтов и критиков сесть за круглый стол и обменяться своими мыслями по этому поводу.

Дискуссию за круглым столом открыл литературный критик Семен Трегуб.

Т Семен
трегуб

— Мы никак не хотим умалить значение эстрады. Известно, что высокая поэзия издавна дружит с эстрадой и с ее помощью находит дорогу к слушателям. Эстрада — это многотысячные устные тиражи. Мастера художественного слова помогают поэзии распространяться, помогают слушателям (а значит, и читателям) лучше ее понять. Мы преисполнены самых добрых чувств к эстраде.

Но не о том сейчас речь.

Чтобы уточнить тему нашей встречи, я позволю себе в самом начале напомнить небольшое стихотворение Константина Ваншенкина. Оно полемически заострено против того дурного, что связано с попятием «эстрада» и чему противостоит истинная поэзия.

В поэзии — пора эстрады,
Ее ликующий парад.
Вы, может, этому и рады,
Я вовсе этому не рад.

Мне этот жанр неинтересен,
Он словно мальчик для услуг.
Так тексты пишутся для песен,
Так тексты есть для чтения вслух.

Поэт для вящего эффекта
Молчит с минуту (зал притих),
И вроде беглого конспекта
Звучит эстрадный рыхлый стих.

Здесь незначительная доза
Самой поэзии нужна,
Но важен голос, жест и поза
Определенная важна.

Как видите, речь идет о том, что сочинять тексты сравнительно легко, а создавать настоящую поэзию очень трудно. Нужно увеличивать в стихах «дозу поэзии». Именно в этом смысл стихотворения, которое я здесь прочел.

В названной нами теме много сторон и граней. Хочется, чтобы разговор за круглым столом коснулся многого, но чтобы он и не расплылся, как это часто у нас бывает, чтобы он не вышел из берегов самой темы.

Количество поэтической продукции огромно. Но каково ее идейно-художественное качество?

Эстрадность, которой не рад Константин Ваншенкин, — это поэтическая низкосортность, это дурной вкус автора и эксплуатация дурного вкуса определенной части публики. С одной стороны — артистизм: голос, жест и поза, а с другой — убогое поэтическое содержание: пошлость, мещанство, индивидуализм, сентиментальничание.

Редколлегия «Дня поэзии» ознакомилась с сотнями стихов. Огорчительно, что у многих поэтов не удалось отобрать ни одного. Почему?

Стихи! Да, мы обвенчаны,
Отдамся вам, пьянись,
Как отдаются женщинам,
Теряя с миром связь,—

взахлёб произносит один поэт, не думая о том, что, потеряв связь с миром, поэзия теряет все. Она становится тем самым расстегаем, о котором другой поэт иронически заметил:

Печет стихи, как расстегаи,
И начинает их... собой.

Я умышленно не называю фамилий. Это ничего не даст для уразумения сущности проблемы, а людей может обидеть. Мы же заинтересованы в том, чтобы помочь им понять великое общественное значение дела, которым они занялись. Подавляющее

большинство из них еще молоды. Это их устами сказано:

Вот если в тине мелкотемья
Увязну я в иные дни,
Тогда без всякого сомненья
Мне кран спасенья протяни.

Нужно постараться вытянуть их из «тины мелкотемья», а точнее — мелкодумья.

В «Дне поэзии» публикуется старая и малоизвестная статья Ивана Алексеевича Бунина «Недостатки современной поэзии». Она, как мне представляется, имеет живое значение. В ней между прочим сказано: *«...содержанием для поэзии может быть все, что затрагивает человека в его индивидуальной и общественной жизни, лишь бы это не переходило границы приличия и не впадало в пошлость».*

Я считаю нужным акцентировать это место. Борьба с рифмованной пошлостью должна быть усилена.

В недалеком прошлом нам, как известно, преподнесли стишки: «Ты говорила шепотом: а что потом? а что потом?», в которых границы приличия были перейдены. К сожалению, существуют и более поздние, так сказать, образцы подобной «художественности».

Мы не аскеты и не ханжи. Но наше жизнелюбие не имеет ничего общего с пошлостью.

Пошлость многолика. Она проявляется не только в грубо-вульгарном натурализме. Существует пошлостное представление о самой жизни.

Поэт ест с товарищем камбалу, «поджаренную в масле», пьет «медленное» пиво, курит сигарету и вполне счастлив.

Что еще там будет в нашей жизни?
Вглядываюсь в даль — не разберусь,—

чистосердечно признается он. Да и это, оказывается, не столь важно:

...день и бестолковый, и счастливый,
с легкой улыбкой на губах,
мы сидим, пьем медленное пиво,
светлые от праздничных рубах.

Еще пример.

Поэт обращается к любимой: «Подари, дорогая, сына с кудерьками, как эта рожь». И вот оно — блаженство:

Будет ветер стучать по ставням,
Будут в печке трещать дрова,
Мы на стол огурцы поставим.
Хороши для закуски? А?

За бутылкою вспомним детство
И проказы первой любви.

Поэт просит любимую оставить будущему сыну в наследство голубые глаза, а он уж подарит ему свой «молодецкий разлет усам».

Чем еще может одарить ребенка такой родитель?

Поэзия ассоциируется с целомудренностью и с масштабностью.

Но такова истинная поэзия, та, которая рождается в муках. Тексты же пишутся легко.

Повела ты бровью левою,
Наклонилась над столом.
Наступаешь — королевою!
Отступаю — королем!

Все отдам и не помешкаю,
Эти пешки ни к чему.
Лишь горюю, чтобы пешкою
Не остаться самому.

Рифмуется: берет — разберет, читает — считает, читает — кусает, конца — огурца...

Для эстрады сойдет. Там планка на таком уровне, что ее перепрыгнет любой.

Следует поддержать критика Ал. Михайлова, который в статье «Факел поэзии», опубликованной в «Комсомольской правде», писал:

«Вопрос об эстетическом качестве поэзии — отнюдь не праздный вопрос. Некоторые хотели бы видеть в борьбе с формалистическим шукаремством амнистию серости и ремесленничеству. Какой самообман! Поэзия и серость несовместимы».

Эстетическое невежество — враг поэзии.

Поднимем же планку!

«Стихи решительно не терпят посредственности», — писал Белинский, бракуя «Мечты и звуки» Некрасова. «Посредственность в стихах нестерпима», — подчеркивал он.

Об этом стоит сегодня вспомнить.

Модное — не всегда лучшее. Во времена Пушкина существовал Бестужев (Марлинский). В нем видели гениального писателя, «Пушкина прозы». А что от него осталось?

Поднимем планку и эстетического вкуса читателей. Поистине огромную роль в этом может и обязана играть литературная критика.

В Программе КПСС сказано: «Партия будет неустанно заботиться о расцвете литературы, искусства, культуры, о создании всех условий для наиболее полного проявления личных способностей каждого чело-

века, об эстетическом воспитании всех трудящихся, формировании в народе высоких художественных вкусов и культурных навыков. Художественное начало еще более одухотворит труд, украсит быт и облагородит человека».

Место поэзии — на переднем крае, «на баррикадах сердец и душ».

Всем сердцем воспримем призыв и завет:

Дайте крепкий стих
 годочков этак на сто,
 чтоб не таял стих,
 как дым клубимый,
 чтоб стихом таким
 звенеть
 и хватать
 перед временем,
 перед республикой,
 перед любимой.

Федоров

Василий Федоров поддержал С. Трегуба в его критике пошлых стихов, рассчитанных на «эстрадный успех».

— У нас было очень много эстрадной шумихи, эстрадных успехов,— сказал он.— Но так называемый эстрадный успех оказывается на поверку не очень стойким, если нет успеха самой поэзии, того, что способно жить как поэзия.

Я хотел бы отделить понятие «эстрада» от понятия «трибуна». Для поэта нужна трибуна, та самая, которой пользовался Маяковский, чтобы пропагандировать высокую поэзию, свои взгляды. Эстрада же требует развлекательности, и поэт нередко становится пленником аудитории, которая хочет развлекаться.

Надо подумать о лучшей организации наших поэтических выступлений, о лучшей организации праздника Дня поэзии.

Я уже не раз говорил, что День поэзии у нас превратился в нечто эстрадное, потому что мы выбрасываем в этот день на книжный рынок все, что у нас есть: стихи хорошие и плохие. И на вечерах, разумеется, читают разное: хорошее и плохое. А критического анализа нет.

Выступает, например, в Политехническом Николай Ушаков, читает прекрасные стихи — зал вежливо аплодирует. После него читает юный автор,— у него сильный голос, обаятельная улыбка, темные кудри до плеч. Читает стихи посредственные, и зал принимает их с восторгом. Мы же в это не вмешиваемся, не ставим все на свои места, не помогаем молодому поэту понять, что стихи его все-таки посредственные, а Николая Ушакова — превосходные.

Наши публичные выступления привлекли за последние годы внимание к поэзии многих читателей. Надо придать большее значение этим встречам.

Выход на эстраду надо всячески приветствовать, но не надо его переоценивать. Если говорить о состоянии нашей поэзии, то я должен сказать, что мы не выполняем серьезной исторической задачи. Вспомним, что Данте вложил все чувства и мысли в свою «Божественную комедию», он, так сказать, построил законченный современный ему мир. А мы очень мало беспокоимся о поэтической законченности нашего мира. Мы как бы вырываем из нашего мира отдельные клочки и цитаты. Я воспринимаю стихи как цитаты из великой вещи, которую мы еще не написали.

Наш социалистический мир молод. Но в нем уже накопилось огромное богатство представлений, произошло формирование новой человеческой личности. Но мы это поэтически еще не синтезировали. И кажется, все, что мы сейчас делаем,— это сколки с отдельных деталей вещи, которая как бы в проекте.

Эстрада мешает работать над поэмой, потому что эстрада и поэма — вещи трудновосприимчивые. В поэме вопросы психологии решаются совсем не так, как в стихотворении, которое поэт читает с эстрады.

Я писал предисловие к сборнику «Факел», который был издан после Четвертого всесоюзного совещания молодых писателей. В этом сборнике не было представлено ни одной поэмы. Боюсь, что сей-

час культура поэмы несколько утрачивается...

Мы должны воспитывать серьезное отношение к эстраде. Давайте приучать ауди-

торию к серьезным стихам. Когда Блок выходил на трибуну, то он не делал никаких уступок слушателям, он их воспитывал.

ДЮлия Друнина

— Год назад я участвовала в большом поэтическом вечере. Там очень хороший поэт прочел очень хорошее стихотворение. Оно, казалось мне, должно было вызвать у слушателей бурную реакцию. Но поэту только вежливо похлопали. А когда другой стихотворец прочел зарифмованный анекдот, то на него откликнулись куда горячее. Часто на вечера поэзии приходят развлекаться, а не слушать серьезные стихи. И поэзия, которая распространяется устным путем, стала во многом не трибуной, а именно эстрадой, если подразумевать под этим словом одну только развлекательность.

Не будем ханжами и сознаемся в том, что, выступая с эстрады, мы часто, принаравливаясь к аудитории, читаем не то, что считаем для себя значительным и дорогим...

Надо сказать, что в истории литературы уже бывали такие случаи, когда успех поэта не был прямо пропорционален достоинствам его стихов.

Я взяла недавно книжку стихов Бенедиктова. В предисловии читаю: «...не один Петербург, вся читающая Россия упивалась стихами Бенедиктова. Он был в моде. Учителя гимназий в классах читали стихи его ученикам своим, девицы их переписывали. Приезжие из Петербурга молодые

франты хвастались, что им удалось заучить только что написанные и еще нигде не напечатанные стихи Бенедиктова».

Читаю далее: «Через полгода после выхода первого сборника Бенедиктова попало второе издание. Поэзию Бенедиктова ценили Жуковский, Тургенев, Вяземский, Тютчев. Известные критики Плетнев, Краевский, Сенковский писали о его замечательном даровании. Московский шеллингианец Шевырев провозгласил его «поэтом мысли». Декабрист Николай Бестужев писал из Сибири: «Каков Бенедиктов? Откуда он взялся со своим зрелым талантом? У него, — к счастью нашей настоящей литературы, — мыслей побольше, нежели у Пушкина, а стихи звучат так же».

Тургенев признавался Л. Н. Толстому: «Кстати, знаете ли вы, что я плакал над книжкой стихов Бенедиктова, и пришел в ужасное негодование, услышав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку?»

История все поставила по своим местам. Она внесла ясность в то, кто такой Пушкин и кто Бенедиктов. Но, думая о современности, я выражу желание, надеюсь общее: хочется, чтобы при нашей жизни не повторялось того, что случилось в прошлые времена.

ЛМихаил Львов

— Самый интерес к поэзии — дело святое. Отлично, когда у человека есть интерес к поэзии — с юных лет до старости.

Как-то я ехал в Переделкино, записывал что-то в книжке. Напротив сидела старушка и спросила:

— Что это вы все пишете?

Я ей ответил:

— Так, некоторые мысли.

— Мнение народное? А вы где живете?

Я ей сказал, что живу в Переделкине, в писательском городке.

— Вы писатель?

— Да, пишу...

— А как ваша фамилия?

Я назвал.

— Что вы говорите! Я очень люблю ваши произведения. Особенно Пушкина.

Я запомнил это на всю жизнь. Для бабушки мы все — единый фронт, от Пушкина до студентов Литературного института. И это святое надо ценить. Нельзя отказываться ни от эстрады, ни от трибуны, ни от чтения вслух.

Мы только что вернулись из поездки по Татарии. В Бугульме после вечера к нам подошли несколько молодых инженеров, двое пошли с нами в гостиницу побеседовать о стихах. Один из них сказал: «Я люблю поэтов своего поколения, я чуть не плачу, когда их ругают, а вот Тютчева я

не понимаю. Тютчев нам не нужен...» Это сказал инженер, ленинградец, грамотный, но узкообразованный человек.

Мне думается, инженер не виноват, что он Тютчева не понимает. Его просто этому не научили ни в школе, ни в институте. А интерес к поэзии у него есть. Но он не знает, что такое хорошо и что такое плохо.

Нужно повседневно воспитывать наших читателей, спорить с ними — в этих спорах и намечаются пути нашей поэзии, ее судьба.

О Григорий ГАНОВ

— Я попрошу прощения за цитату. Она из Станиславского:

«Театр — обоюдоострый меч: одной стороной он борется во имя света, другой — во имя тьмы. С той же силой воздействия, с которой театр облагораживает зрителей, он может развращать их, принижать, портить вкусы, оскорблять чистоту, возбуждать дурные страсти, служить пошлости и маленькой мещанской красоты».

Это — о театре. Но это так же справедливо в отношении поэтической эстрады.

С эстрады сегодня звучат стихи хорошие и разные, звучат стихи отличные, оригинальные по мысли, тонкие и умные, стихи философские и глубоко лиричные. Звучат и другие стихи — слащавые, художественно беспомощные, те, что не выдержат испытания бумагой, а на эстраде «проходят», и порою довольно шумно.

Поощренные добротой зала, на эстраду выходят поэты, которым еще пристало бы некоторое время скромно посидеть в партере. Они читают свою скороспелую «модернягу», читают с апломбом, поплеывая на рифму, размер, а заодно и на здравый смысл. И особенно горько, что порою так поступают даже бесспорно талантливые молодые поэты.

Впрочем, иные толкователи заявляют, что сегодня пользуется успехом лишь некий «современный стиль», что нельзя быть «современным», не сломав размер, не исковеркав рифму....

Нет, думается, это отнюдь не современно. Это очень старо. Это даже более старо, чем

принято считать. Я хочу привести здесь еще одну цитату:

«...В городе объявился целый выводок детворы, едва из гнезда, которые берут самые верхние ноты и срывают нечеловеческие аплодисменты. Сейчас они в моде и подвержают таким нападкам старые театры, что даже военные люди не решаются ходить туда из страха быть высмеянными в печати».

Это Шекспир. Не верится, что это сказано четыре столетия назад.

Почему же зал аплодирует сегодня? Мне кажется, это происходит потому, что зал жадно ищет поэзию. Это не мода. Это радостное явление времени. Лучше всего о нем сказал Леонид Мартынов:

...Дело пахнет искусством.
Человечеству хочется песен.

Тяга к поэзии — всеобща. К сожалению, далеко не всем удается распознать, где поэзия настоящая, а где — суррогат, ловкая подделка.

Вот здесь и возникает важнейшая задача — воспитывать вкус читателя. Это задача не только эстетическая. Это задача и идеологическая. И, следовательно, решать ее можно только одним способом — активным наступлением.

«Военная» терминология может насторожить. Чего добивается автор сих строк? Может, он хочет учредить некую маститую комиссию, которая будет авторитетно решать: кого выпускать на эстраду, а кого — нет, какие стихи читать, а какие — нет?

Успокойтесь. Автор хочет большего. Автор — яркий противник бесконфликтности в искусстве вообще и на поэтической эстраде в частности. Пусть будет борьба. Пусть плохим, слабым, мещанским стихам на каждой эстраде противостоит настоящая поэзия, настоящие стихи — их у нас много, очень много!

Для этого нужно, чтобы гораздо больше поэтов пришло на эстраду, чтобы поэты не «стеснялись» эстрады, считая ее чем-то второстепенным и даже вульгарным, чтобы поэты отрешились от ходячего мнения, будто эстрада предопределяет «репертуар», который должен быть обязательно «облегченным».

И вот тут хочется сказать об умении читать стихи. Стихи — как музыка: научившись еле брнчать на фортепьяно, можно «с успехом» исполнить модный шлягер,

но чтобы покорить зал «Аппассионатой», надо быть Рихтером.

Надо учиться читать стихи — даже свои собственные.

Увы, этим пренебрегают многие поэты.

Есть счастливые совпадения — талантливый поэт талантливо читает свои стихи. Удовольствие слушать, как читает Егор Исаев, — читает не стихотворение в двадцать строк, а целые главы поэмы.

Рядом с поэтом на эстраде должен встать и профессиональный чтец — мастер художественного слова. Мне кажется, что сейчас еще очень редки случаи такого содружества мастеров — поэта и чтеца, страстного пропагандиста поэзии.

Все это я и называю наступлением. И когда большая поэзия зазвучит во весь голос, во всю свою силу, стихи мещанские, стихи на потребу будут изгнаны с эстрады.

А зал скажет: «Спасибо!»

М Александр ИХАЙЛОВ

— Все ли стихи надо и можно читать с эстрады? Разные стихи требуют разного восприятия. Если проводить аналогии, то можно сказать так: политическая речь может быть произнесена перед многотысячной аудиторией, и она способна зажечь ее. Лекцию же о любви и дружбе вряд ли можно проводить в многотысячной аудитории. Философский трактат будет восприниматься еще труднее. То же и с поэзией на эстраде.

Обратимся к опыту Маяковского. Эстрада для него была трибуной. И это справедливо. С эстрады-трибуны звучали его политические, гражданские стихи, стихи на темы морали, нравственности.

С эстрады должны, на мой взгляд, читаться такие стихи, которые вызывают мгновенную реакцию, которые помогают сразу

установить контакт между поэтом и слушателями. Вряд ли философская лирика должна звучать с эстрады. Этот жанр лирики требует восприятия не мгновенного, а особого настроения, раздумья. И я понимаю, почему, например, Леонид Мартынов или Евгений Винокуров неохотно выступают на эстраде.

Вряд ли можно сбрасывать со счетов то, о чем говорил Маяковский: рифмы, темы, дикция, бас — то есть умение донести свои стихи до слушателя, выразительно прочесть их.

Я больше люблю слушать поэтов, нежели профессиональных чтецов. Тут есть особая прелесть. Мне поэт говорит своим непрофессиональным голосом больше, чем профессионал-исполнитель. И поэты не должны пренебрегать эстрадой.

П Зиновий ПАПЕРНЫЙ

— Мне кажется, что поэзия и эстрада не двоюродные, а родные сестры. Но сестры с разной репутацией.

Если поэзия предполагает что-то возвышенное, серьезное, то слово «эстрада», к

сожалению, звучит порой двусмысленно. Мы часто читаем, что это, мол, рассчитано на эстрадный, то есть дешевый, успех, и рассматриваем эстраду как нечто подозрительное. Получается, что эстрада — это

чуть ли не стриптиз, пошлость, раки и пиво. А мы знаем эстраду революционных времен, мы знаем «Синюю блузу». Это слово для нас дорого.

Я согласен с Василием Федоровым, что без эстрады в высоком смысле мы жить не можем.

Да, Маяковский — это трибуна. Но Маяковский — это и эстрада. Он эстраден в самом благородном смысле слова, начиная от походки, голоса, от снятого пиджака, импровизации, от великолепного чувства аудитории и вплоть до его любви к цирку. Поэтому формула Маяковского — «я стою за агитацию со звоном» — имеет высокий поэтический смысл. Здесь у нас спора нет. Возьмем время Маяковского, когда не было телевидения, не было Союза писателей, не было этих могучих каналов и мостов. Вместо огромного Дворца спорта — миниатюрненькое кафе поэтов, маленькая эстрада, сцена без микрофона, но там клочкотала поэзия. Вспомните Политехнический музей! У нас же иногда много звона и шума вокруг поэзии, но, как это ни странно, поэзия не так часто звучит. Иногда возникает нечто вроде футбольного ажиотажа, когда «болеют» за «Динамо» или «Спартак».

После войны я как-то ехал в Ленинград. Матросы в вагоне великолепно пели под гармонь. Я попросил: «Спойте «Снова замерло все до рассвета...» Они ответили: «Эту песню уже отпели». А было тогда этой песне всего несколько месяцев.

Вот такое календарное отношение у нас бывает к поэзии. Стихотворение, поэт безжалостно отрываются, как листки календаря, порой даже непрочитанными.

Вспоминаю вечер, когда был задан вопрос: «Кто больше всех нравится из молодых поэтов?» — девушка назвала совершенно молодого, еще никому не известного поэта. Когда мой приятель ей сказал: «Я думал, ты назовешь Евтушенко», — она ответила: «Что вы, это уже старое поколение». Мартынов для таких календарных почитателей уже что-то времен Очакова и покоренья Крыма.

Однажды пригласили Корнея Ивановича Чуковского, попросили: вы нам почитайте что-нибудь из неопубликованного Блока. Он ответил: зачем я буду читать неопубликованного Блока, когда вы опубликованного не знаете?

Мне кажется, поэзия у нас мало звучит.

Поэты говорят: я не знаю, где мне почитать свои стихи, потому что у нас в Союзе писателей — смотры, просмотры, встречи с учеными, художниками и т. д. Но трудно найти свободный день и час, чтобы поэт мог прочесть свои стихи.

Давно пора подумать о театре поэтов. Чтобы поэзия соединилась с эстрадой, чтобы в Союзе писателей возникла большая школа поэтической эстрады.

Я не согласен с тем, что поэты плохо читают стихи. Многие читают хорошо, и тот же Евтушенко хорошо держится на эстраде, Егор Исаев талантливо читает свои стихи. И вообще, что значит — хорошо или плохо читают стихи? В 1921 году Блок, уже тяжело больной, получает приглашение приехать в Москву читать свои стихи в Политехническом музее. Его друзья говорили: Политехнический музей привык к великолепному чтению Маяковского, Александр Александрович, для Вас это будет провал! Но Блок приезжает в Москву, выступает в Политехническом музее, читает свои стихи, читает почти на одной ноте, слабым голосом — и овладевает Политехническим музеем, овладевает аудиторией. Это был огромный успех. С точки зрения профессионально-актерской — это было, вероятно, не безукоризненно, но поэзия говорила здесь — при всем полупешоте — полным голосом.

Я бы сказал, что чтецы часто портят стихи. Помню вечер Светлова, он сам читал стихи, читал прекрасно, потом пришел какой-то актер и начал жирным голосом «подавать»:

Как мальчики, мечтая о победах,
Умчались в неизвестные края
Два ангела на двух велосипедах —
Любовь моя и молодость моя.

Казалось, все, что у Светлова скромно прячется в тени, — крикливо полезло вперед. И сам «подтекст», тыча себе в грудь пальцем, громогласно заявлял: обратите на меня внимание, вот я какой!

Было бы хорошо издать книжки поэтов с их голосами, с портретами. Какая была бы прекрасная серия! Я предложил это в центральном издательстве, но мне сказали, что это невозможно, потому что пластинки — другое ведомство.

Как ни велик интерес к поэзии — поэзия звучит мало.

Я не разделяю военизированных сравнений и метафор относительно оставленных

окопов. Наоборот, мне кажется положительным фактом, что к поэзии вызван такой интерес.

Но сейчас в общем шуме вокруг поэзии должен явственной звучать голос самой поэзии.

БАгния Барто

— Я не могу согласиться с теми товарищами, в устах которых дешевый успех и «эстрадный успех» звучат почти как синонимы. Эстрада — явление чрезвычайно демократичное и вовсе не противопоказанное высокой поэзии. Я рада тому, что наша поэзия заполонила в последние годы эстрадные залы. Ведь еще не так давно люди не шли на открытые поэтические вечера.

Может быть, у меня такое уважение к эстраде потому, что я видела, как Маяковский, выступая в Сокольниках, в одно мгновение превратил эстраду в трибуну. Я горячо благодарна Маяковскому за то, что он показал нам, в ту пору молодым, начинающим поэтам, как надо завоевывать аудиторию, как надо выступать на эстраде. И совершенно напрасно некоторые наши поэты недооценивают ее пропагандистское значение и относятся с пренебрежением к эстраднему успеху. Я — за такой успех.

Не могу согласиться с теми, кто считает, что настоящие стихи не доходят, прочитанные с эстрады. Иногда, действительно, сла-

бое, но «эффектное» стихотворение принимается лучше, чем хорошее, поэтическое. Но ведь так порой случается и со стихами, напечатанными в книге.

Другое дело, что не всем поэтам свойственно «чувство эстрады» — умение выбрать стихотворение, донести его поэтическую мысль, хорошо его прочесть. Есть талантливые поэты, которые губят свои отличные стихи плохим, неумелым чтением. И опять-таки не эстрада в этом виновата.

Неоправданное пренебрежение, которое существует у иного поэта к эстрадной площадке, сказывается на его манере выступать. Выйдет поэт развязной походкой, небритый, словно нехотя пробормочет свое, может быть, и неплохое стихотворение и удалится, не припятый залом, который чуточку улавливает неуважительное отношение. Кто же тут виноват — эстрада или поэт?

Нет, неверно, что эстрада не доросла до высокой поэзии! А если порой и аплодируют дешевым стихам, то с пошлостью везде надо бороться.

ПВиктор Олторацкий

— Очень верно сказала Агния Барто: эстрада вовсе не противопоказана поэзии, но очень важно, чтобы с эстрады звучала поэзия высокого класса.

К сожалению, иногда получается наоборот. Эстрадный успех выпадает на долю слабых, несовершенных по форме и несамостоятельных по мысли стихов. Этот легкий успех кружит голову, и недостаточно зрелый поэт стремится вызвать аплодисменты публики неправедными путями: то ли завуалированной «клубничкой», то ли нарочитой грубостью, то ли слезливой чувствительностью. Мы знаем такие примеры...

Иногда эстрада толкает поэзию к кокетству перед публикой, к позерству и внешней красавости. Но кто-то из мудрецов давно уже высказал верную мысль: слишком красивая речь всегда лжива. Правда не любит мишуры, ей незачем рядиться в модные платья. А правда жизни, правда глубоких чувств должна быть душой пастоящей поэзии.

Наконец, хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что эстрадным успехом передко пользуются стихи, построенные исключительно на внешней эффектности и чаще всего на эффектности звукописи. Поэт, выступающий чтецом,

ошеломляет или завораживает аудиторию потоком слов, близких по звучанию, но совершенно несовместимых по смыслу. Внешне, на слух, такие стихи могут показаться интересными, но мысль в них сугубо темна либо вообще отсутствует. Их с одинаковым успехом можно читать сверху вниз и снизу вверх и даже с середины — ничего от этого не изменится. До смысла добраться все равно трудно. Мне такие стихи кажутся сомнамбулическими, то есть написанными бессознательно. Между тем среди некоторой части молодых поэтов уже появилась мода на подобное стихосложение, а иные из наших критиков пытаются теоретически оправдать бессмыслицу, усматривая в ней «сложность лирических ассоциаций». Говорят, что и такие стихи могут растрогать слушателей. Возможно, но чем?..

В связи с этим мне вспоминается один эпизод из повести А. П. Чехова «Мужики». Помните: в деревню Жуково из Москвы приезжает больной официант Чикильдеев с женою Ольгой и дочкой Сашей. Чтобы похвастаться перед деревенской родней успехами дочки, Ольга заставляет Сашу читать Евангелие.

«...Саша подняла брови и начала громко, нараспев:
— «Отшедшим же им, се ангел господень...

во сне явился Иосифу, глаголя: «восстав поими отроча и мать его...»

— Отроча и мать его,— повторила Ольга и вся раскраснелась от волнения.

— «И бежи во Египет... и буди тамо, дондеже реку ти...»

При слове «дондеже» Ольга не удержалась и заплакала. На нее глядя, всхлинула Марья, потом сестра Ивана Макарыча... И когда чтение кончилось, соседи разошлись по домам, растроганные и очень довольные...»

Что они уловили, что поняли в этих темных словах — «дондеже», «поими»? Но, как видите, растрогались... Не такую ли растроганность — «непонятно, а хорошо!» — вызывает у иных слушателей и сомнамбулическая поэзия?

Она, эта поэзия, напоминает наговоры былых деревенских колдунов или радения шаманов. Смысл их причитаний был нарочито темен. Но если тут есть что-то общее, то не значит ли, что сторонники «сложных лирических ассоциаций» пытаются выдать за новаторство в поэзии реакционнейший архаизм?

С эстрады такое новаторство порою может звучать эффектно. Но стоит ли поддаваться безотчетному, смутному чувству?

Я глубоко убежден в одном: с эстрады ли, с трибуны ли — все равно — должна звучать поэзия высоких чувств и ясного смысла!

МИгорь **ОТЯШОВ**

— Здесь делалось сомнительное, на мой взгляд, обоснование: есть стихи специально эстрадные, со своими особенностями, и есть-де глубокая поэзия. Я же полагаю, что по-настоящему хорошие стихи всегда будут встречены аудиторией так, как они того заслуживают.

Но мы собрались потому, что у нас тревога за поэзию, за то, чтобы она существовала как поэзия, а не как чтение с эстрады. Стих, прочитанный сегодня с эстрады, завтра появляется в газете, в журнале, послезавтра — в сборнике стихотворений, — то есть такого разделения стихов на эстрадные и неэстрадные нет. И дело не в эстраде, а в том, что рядом с хорошими сти-

хами, которые имеют заслуженный успех, имеют успех и плохие стихи. Мне кажется, что у нас произошла некоторая девальвация слова. Меня удивляют в наших поэтических декларациях и критических статьях широковещательные заявления о том, что средний уровень стиха необычайно повысился, что все пишут на пятерки, что все поэты — мастера.

Я прочитал несколько десятков сборников, вышедших в разных издательствах, и убедился, что пишут в общей массе слабо. Хотя если рассуждать умозрительно, то техника стиха должна была бы повыситься потому, что накапливается богатейший опыт и каждый новый поэт может стать

мастером, как новый шахматист, прочитав все партии Ботвинника или Смыслова, усвоив их опыт, может выиграть партию. Так в теории. А на практике получается по-другому.

Недавно Роберт Рождественский, после поездки в Америку, напечатал ряд новых стихотворений из «заграничного» цикла с такими рифмами: ангелов — ахают, великолепно — королева, дева — тело, ждать — вдаль, плюнуть — люди, ритм — уберите, зуда — сосулька, неизбежно — песня.

Я не верю, что Рождественский не умеет рифмовать. Конечно, он может написать стихи по-настоящему. Но он, как я полагаю, исходит из нелепого убеждения, что рифма в стихах — вещь второстепенная.

О Евгений сетров

— Я не собираюсь ставить все точки над «і» в споре на тему — поэзия и эстрада. Обращу внимание на то, что в «Литературной газете» появилось письмо читателя Феликса Рахлина и ответ Константина Ваншенкина. Прочитав строку «В поэзии — пора эстрады...», читатель спросил: «Но плохо ли это?» и дальше: «Собственно, не представляется ли она, эта пора, порой расцвета одной из замечательных традиций советской поэзии, традиции, идущей от Маяковского?» Ответ Константина Ваншенкина весьма убедителен. Он показал, что читатель заблуждается, что он неверно толкует смысл стихотворения «В поэзии — пора эстрады...».

Это стихотворение отнюдь не умаляет достижений нашей поэзии, ее вечно живые высокие образцы.

Передо мной гряда зарубежных изданий. Передавая разнохарактерные впечатления о нашей стране, туристы все пространнее — в один голос! — говорят о непонятной, «загадочной» любви советского народа к стихам. Приведу только «шапки», мелькавшие в иностранных изданиях:

«Москва — столица поэзии»;

«Страна снегов отмечает День поэзии!»;

«У памятника Пушкину — никогда не вянут живые цветы».

А вот, например, что пишет издание «Культур», выходящее в Западной Германии: «Кто увидит, как молодые поэты по

А ведь она сшивает стих, как железные скобы бревна плота.

Стихотворения не получатся, пока слова не будут пригнаны друг к другу столь плотно, чтобы между ними не было ни малейшего зазора, чтобы ни одно не казалось лишним или необязательным, чтобы они держались вместе силой собственной тяжести и сцепления поверхностей, как держатся гранитные глыбы пирамид.

Многие же стихи, даже маститых поэтов, которые имеют большой успех не только на эстраде, шиты, как говорится, на живую нитку. И мне хочется сказать: если есть что-то плохое в так называемых «эстрадных стихах», то это пренебрежительное отношение к поэтической форме.

вечерам читают свои новые стихи перед сотнями зрителей-критиков, а вдобавок узнает, что то же самое происходит в отдаленных сибирских городах, тот поймет, как много изменений произошло в Советском Союзе... Нужно сказать, что литература, в том числе поэзия, играет в жизни Советского Союза роль гораздо более значительную, чем это имеет место в нашей стране».

Да, это, конечно, так!

Владимир Маяковский мечтал о том времени, когда у нас понимание стихов станет выше «довоенной нормы». Ныне «норма» эта перекрыта с лихвой. В Москве, Ленинграде, Воронеже, в столицах союзных республик появились специализированные магазины «Поэзия». Они становятся своеобразными клубами любителей поэзии. Несколько лет назад сборник «День поэзии» был столичной новинкой. Ныне у него есть братья в Киеве, Минске, Тбилиси, Ташкенте, Ленинграде, Ярославле, Горьком, Новосибирске...

В последнее время не только молодые, но и большая группа поэтов старшего поколения переживают своеобразную творческую весну. Я имею в виду Александра Прокофьева, Максима Рыльского, Николая Рыленкова, Петруся Бровку, Сергея Смирнова, Бориса Ручьева, Мирзо Турсунзаде, Ярослава Смелякова, Людмилу Татьяничеву, Виктора Полторацкого, Всево-

лода Рождественского, Павла Антокольского...

Большинство наших поэтов могут вслед за Ярославом Смеляковым гордо сказать:

Поэзия! Моя отрада!
Та, что всего меня взяла
и что дешевою эстрадой
ни разу в жизни не была;
та, что, порвав на лире струны,
чтоб не томить и не бречать,
хотела только быть трибуной
и успевала ею стать;

МАлексей МАРКОВ

— Я не согласен с теми, кто хотел бы подчеркнуть значение эстрады для поэта. Надо ли напоминать о Маяковском, Есенине?! Своими публичными выступлениями они расширили волну действия поэзии. Стихи без поэта — это все-таки музыкальный инструмент без исполнителя: на нем еще надо уметь играть! Оговорюсь сразу. Я не имею в виду халтурщиков, потрясающих только неподготовленную аудиторию: дескать, складно! Перед глазами опытной публики подобные «поэты» предстают голенькими.

Музыка чтения разоблачает беспомощность текста.

Но недопустимо идти на поводу у публики, шекоча ее любопытство (особенно это касается молодежи). Поэт и на эстраде должен оставаться самим собой.

Вспоминается литературный вечер в Театре эстрады. Выступают поэты — один, другой, третий. Читают талантливые, здо-

та, что жила едва не с детства, с тех пор, как мир ее узнал, без непотребного кокетства и потребительских похвал...

Так пусть же поэзия всегда будет прежде всего трибуной, с которой можно сказать миру много значительного, волнующего, доброго.

Да живет поэзия — трибуна жизни, сторонящаяся дешевого, мимолетного успеха, раздумывающая, говоря словами Маяковского, «о времени и о себе»!

ровые стихи. А публика провожает их хлипкими аплодисментами. Выходит Р. Рождественский, читает стихи об Америке. Слушатели тоже не в восторге. Они явно ждут чего-то другого! Рождественский читает стихи о рано созревшей проститутке, и — гром аплодисментов, «бис»!

А что делает Эдуард Асадов? Ведь экзальтированные девицы визжат, когда он повествует, как некое создание встает с помятой травы, расправляет помятую юбочку, гадая при этом, женится он теперь или нет...

Я знаю, все это неприятно выслушивать. Но я говорю: мне дорога дружба, добрые отношения с упомянутыми поэтами, однако мне не менее дорого духовное здоровье моих детей! Я много езжу по стране и вижу, с какой сатанинской быстротой рвутся к подобной же популярности молодые поэты на периферии. К этому нельзя относиться спокойно!

ВКонстантин АНШЕНКИН

— Я не буду объяснять, что я хотел сказать стихотворением «В поэзии — пора эстрады...», — об этом сказано в стихах. Кроме того, Семен Трегуб очень правильно подчеркнул здесь смысл этого моего стихотворения.

Разумеется, я не против публичных выступлений поэтов, совсем нет. Но я против смещения критериев и оценок, против си-

стематической стихийной порчи читательского вкуса. Конечно, одни поэты читают свои стихи лучше, другие — хуже. Северянин имел на эстраде успех гораздо больший, чем Блок. Но это еще куда ни шло: все-таки Северянин. Можно назвать очень слабых поэтов, восторженно встречаемых залом (они «умеют» читать), и поэтов замечательных, не имеющих на эст-

раде ни малейшего успеха. Со всем этим еще можно было бы примириться. Ведь, слава богу, у нас есть письменность. Хуже другое.

Сейчас весьма популярны публичные выступления поэтов (повторяю, я совсем не против них). Говоря откровенно, напечататься сложнее, чем выступить устно. Иной раз слушаешь и не понимаешь: кто же это — поэт или чтец-декламатор? Он и озабочен-то, кажется, не поисками нового в своей поэтической работе, а исключительно поисками средств общения с залом.

И вот самая главная беда: такой часто выступающий (пусть и очень хороший) поэт обязательно начинает писать стихи, специально рассчитанные на эстрадный успех. Остальное уже не имеет для него значения. Часто поэт сам не замечает этого, но он подсознательно пишет именно такие стихи, которые «хорошо идут» (достаточно длинные, с «эстрадным», обычно чисто внешним, «поворотом» и т. д.). А артистическое умение «подать» как бы компенсирует всю рыхлость, слабость таких стихов, вернее, делает ее незаметной. Как это обедняет, упрощает, обкрадывает поэзию, нарушает все критерии, сбивает с толку читателя! Стихи-то ведь бывают разные. Есть такие, которые можно читать вслух лишь негромко, в небольшой комнате, или только одному слушателю, или только про себя (о чем говорила А. Барто), есть и такие, которые по-настоящему понимаешь, лишь перечитав их, то есть имея возможность тут же вернуться к началу, и т. д. И ведь это зависит не от силы, а от особенности дарования.

О Маяковском. В любом случае, когда речь идет о поэзии и эстраде, все облегченно ссылаются на Маяковского. Конечно,

Маяковский не мог не идти на эстраду, на трибуну, не мог не писать стихи именно для чтения вслух. Это как раз особенность его таланта. Он, между прочим, заявляет:

«Так, например, печатный текст говорит немного безразлично, в расчете на к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о читателя:

Надо вырвать радость
у грядущих дней.

Иногда в эстрадном чтении я усиливаю эту строку до крика:

Лозунг:
вырви радость у грядущих дней!

Поэтому не стоит удивляться, если будет кем-нибудь и в напечатанном виде дано стихотворение с аранжировкой его на несколько различных настроений, с особыми выражениями на каждый случай.

Сделав стих, предназначенный для печати (разрядка моя.— К. В.), надо учесть, как будет восприниматься напечатанное, именно как напечатанное».

Таким образом, Маяковский прямо говорит, что эстрадное чтение рассчитано на менее квалифицированную публику (совершенно очевидно, что это положение сохранилось до сих пор). Маяковский проводит границу между стихами для чтения вслух и для печати, чего не делают иные современные поэты, хладнокровно печатая стихи, предназначенные лишь для чтения вслух. А читатель, присутствовавший при эстрадном успехе этих стихов, встречая их потом в книжке, привычно принимает их за высокие образцы.

Л Михаил обанов

— Стоит ли писать стихи? Я уже вижу, как, услышав такое, иной поэт, недовольный «вялостью» издательства, не поспевающих за его образцовой деятельностью, просто лишится от возмущения дара рифмы. Он готов ежеквартально выпускать по сборнику, а здесь такой нелепый вопрос! Но вот Александр Блок часто задумывался

над этим: нужны ли стихи? Перед тоскою нравственных запросов стихи могли казаться игрою слов. «Стихов писать не могу, даже смешно о них думать». Блок чувствовал себя обессиленным сомнениями. «Если напишу, будет непременно ложь, т. е. словесность, т. е. кощунство. Лучше не писать».

Какие глубокие раздумья таятся под этим признанием! Поэт видел ужас жизни и не знал, серьезное ли дело — писать стихи, облегчат ли они кому-нибудь боль. Это та внутренняя честность перед людьми, предельная искренность перед самим собою, которые отличают подлинного художника и которые оправдывают существование литературы.

Мы теперь можем сказать, что Блоку «все-таки» надо было писать стихи, да он и писал, но именно потому жизнь этих стихов не прекращается до сих пор, что они прошли через муку раздумий, что они стали результатом внутренних исканий поэта. В поэзии, как ни в одном другом жанре литературы, видна условность выражения. Противостоит и несерьезно перелгать стихами то, что можно сказать в обычной речи. Известно, какое раздражение вызывало стихоплетство у Л. Н. Толстого, строгого к каждому делу, видевшего в составлении стихов противную игру, советовавшего тем, кто присылал ему стихи, бросить заниматься этим пустым делом и больше читать философов-мудрецов. Но уместно вспомнить и то, что Толстой не мог без слез читать стихотворение Тютчева «Тени сизые смешались...».

«Писать или не писать?» — на этот вопрос многие авторы могут ответить только одним: писать, и как можно больше! Да, бросить писать стихи — не так-то легко. Ведь надо отказаться от мелькания своей фамилии, а иной этим только и славен! И очень может быть, что этот мелькающий автор, которому не дает покоя эстрадный успех своего собрата по стихам, при удобном случае, — на нашем, например, сегодняшнем обеуждении, — может изойтись в пламенной защите поэзии от эстрады. Но мне кажется, что для нашей поэзии есть посерьезнее забота, чем пылкое оберегание ее от эстрадной шумливости.

Наивно думать, что выступления поэтов со сцены, даже и милой компанией, могут приподнять слушателей на высоту эстетического прозрения. Есенина и Блока, увы, нет среди выступающих, они не «пропагандируют» себя и свою поэзию, а еще как доходят до читателя!

Влияние создается глубиной творчества, и для серьезного поэта всегда будет главным — самоуглубление духа. Поэзия — это не повод для словесного сооружения своего мнимого величия, а средство выразить свою сокровенную нравственную сущность.

Мы пришли в этот мир не для того, чтобы с удовольствием для себя писать никчемные стихи или статьи, а чтобы понять какие-то коренные запросы человеческой души, помочь друг другу. Кому нужно словесное упоение, даже и с напористой авторекомендацией? Художник — это прежде всего значительная личность. Что может сказать людям душевная мелюзга, хотя и ощепленная иглами рифм? Если согласиться с тем, что поэт — это талант не только словесно-изобразительный, но и, пожалуй, в большей мере человеческий, что за природу поэта нельзя выдавать только внешние средства выражения, то возникает раздумье о том, что же важно для поэта?

Напомним о поэте, который не писал стихов. Эйнштейн называл самым поэтическим, возвышенным чувство человека, когда он проникается ощущением таинственного величия вселенной. Для самого Эйнштейна в его многотрудной судьбе, для его совести, не равнодушной к злу и разладу в жизни, было спасительным восприятие вселенной в ее гармонии, поразительной стройности. Такая масштабность видения не излишня для поэтов. Каждый большой художник и свою эпоху воспринимает как синтетичный эмоциональный образ, залегающий в душу, объемлющий все необозримое многообразие действительности. Внешний мир в главных качествах добра и зла становится внутренним «полем» переживания поэта.

И тогда, о чем бы художник ни писал, частное у него будет прорасти смыслом общего.

Так разве в одних лишь выпадах бойкого воинства «откровенных» эстрадников должны мы видеть опасность эстетического подешевения поэзии? Бальзак, с презрением говоря о погоне современных ему авторов за похвалами и статьями, называл такое рвение нищенством, пауперизмом духа. По-моему, признаком «эстрадного» подешевения поэзии и является этот пауперизм духа. «Эстраднивание» — это не только то, что крикливо, но и то, что неорганично в поэзии.

Пошло у нас хватает во всех жанрах. Пошло, когда чуть ли не до потолка разбухает книга об одном писателе, перед которой все написанное самим писателем кажется совсем отоцвавшим хозяйством. Пошло, когда мысль — воробьиного величия, а пишется целый роман. У поэтов есть

свои особые пошлости, которые, так же как их достоинства, по свойству самого жанра, можно сказать, более броски. У иных поэтов излишне развито темпераментное отношение к внешнему в жизни. Встречи с коллегами по рифме становятся для некоторых чуть ли не единственным духовным подкреплением. Но не надо бы забывать, что настоящий художник живет самоуглублением духа, если хотите — уединением. Ведь тогда-то и зреет в душе столь нужное поэту однодумье, которое не восполнится никаким бытовым многодумьем. Достоевский и Л. Н. Толстой никогда не встречались в жизни, но они так много

значили друг для друга, что со смертью Достоевского Толстой почувствовал себя обедневшим. Гендель и Бах также не встречались, но глубина творчества каждого из них взаимно притягивала друг друга. Вот если бы у наших поэтов было ощущение такой взаимной значительности, духовной высоты — это было бы куда важнее для общего дела, чем тактическое обогащение в бесконечных бильярдных столкновениях в Доме литераторов.

А вообще-то в нашей поэзии столько забот, что увеличивать их раздумьями об эстраде вряд ли надо.

Заключая обмен мнениями, Семен Трегуб снова подчеркнул, что никто и никак не покушается на эстраду как таковую:

— Эстрада — наше общее дело, общая забота. Нельзя недооценивать ее роль в культурной жизни страны. Стихотворение Константина Ваншенкина направлено не против эстрады вообще, а против того дурного, неполноценного, что с ее подмостков преподносят публике иные поэты. «Эстрадный успех» далеко не всегда есть подлинный, настоящий.

В этой связи Семен Трегуб вспомнил любопытный эпизод:

— Около тридцати лет назад на Минском пленуме Правления Союза писателей выступал один поэт, который говорил о Маяковском примерно так: «Мы любим Маяковского. Но не того Маяковского, который написал «Облако в штанах», не того Маяковского, который написал «Флейту-позвоночник», а того Маяковского, который написал «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Говорил поэт темпераментно, жестикулировал, сверкал глазами, потрясал кудрями. Это был новоявленный Цицерон. Аудитория, увлеченная его речью, бурно аплодировала. Он же продолжал из одного Маяковского делать двух и одного резко противопоставлять другому. Я демонстративно заложил руки за спину. Рядом со мной сидел человек, который тоже не аплодировал. Мы переглянулись. Я был молод, а сосед мой выглядел стариком: аккуратная седая бородка, усы, очки. Он тихо сказал мне: «Настоящий писатель так красиво говорить не может». Это был Михаил Михайлович Пришвин.

Говорить красиво не значит еще говорить хорошо, по-писательски. Можно искусно прочесть и плохо написанные стихи. С эстрады не всегда все разглядишь.

Здесь часто упоминалось имя Маяковского, ссылались на него. Маяковский выступал, конечно, блестяще. Я не раз слышал его. И каждая встреча с поэтом была праздником. Но следует иметь в виду и то, что Маяковский в силу известных причин вынужден был читать стихи с эстрады, — ему нужно было завоевывать слушателей-читателей, преодолевать то сопротивление, которое оказывали ему недруги.

(А. Л. Барто: А разве сейчас поэты не должны завоевывать аудиторию?)

— Должны. Нужно, однако, иметь в виду, что мы живем сейчас в иных условиях, нежели те, в каких жил Маяковский. И то, что мешало ему пробиться к аудитории, нам теперь не мешает. Напомню и то, что мне пришлось однажды слышать из уст Маяковского. Он выступал в Евпатории. Задали вопрос: «Почему такие дорогие билеты?» Он ответил: «Это налог на вашу неграмотность. Могли бы читать сами, сюда не пришли бы». Ответ, разумеется, шуточный. Но все, надеюсь, согласится с тем, что для того, чтобы завоевать аудиторию, писателю необходимо хорошо писать. Без этого — не может быть прочного успеха. Отлично сказал об этом еще на Первом нашем Всесоюзном съезде Леонид Соболев: «Партия и Правительство дали советскому писателю решительно все. Они отняли у него только одно — право плохо писать». Слова эти не утратили своего живого значения и сегодня.

«Издержки производства»

(Заметки о стихах)

В начале 1964 года «Литературная газета» напечатала статью Ильи Сельвинского «Уравнение с двумя неизвестными». Статья задела меня за живое. Да и не одного меня.

Илья Сельвинский поставил вопрос о своем рода поэтической инфляции в нашей поэзии. Справедливо говоря, что поэзия в нашей стране становится массовой, он в то же время упрекает ежегодник «День поэзии» в недостаточно строгом отборе стихов, предлагает повысить к ним требования. Однако Сельвинский, по существу, ушел от вопроса о характере этих требований, ограничившись давно известным и ни у кого не вызывающим сомнений заявлением о том, что «одно владение техникой еще не создает поэзии».

Мероприятие, позволяющее упорядочить положение с поэзией, предложенное Сельвинским, весьма простое: если все пишут на пятерки, значит, надо повысить пятибалльную систему... ну хотя бы до двенадцатибалльной, заявляет он в своей статье. Однако, если это чисто формальное изменение, по существу, ничего не дало в педагогической практике (по двенадцатибалльной системе производилась оценка воспитанниц привилегированного Смольного института, но, как известно, оттуда выходили далеко не самые образованные и знающие девицы), то едва ли это начинание принесет пользу и в оценке поэзии. Тут Сельвинский даже противоречит самому себе: ведь он же заявил, что владение техникой еще не создает поэзии! А баллами можно оценивать лишь именно технику, степень изощренности рифм, ассонансов, ритмов, инструментовки и т. д.

Подняв важный вопрос, Илья Сельвинский ушел от него в сторону, стремясь доказать, что среди поэтов, не удостоившихся помещения в «Дне поэзии» или просто непечатаемых, именно и есть те «неизвестные», которых следует оценивать если не двенадцатью баллами, то по крайней мере одиннадцатью. Это Лев Болеславский из

Харькова и Валентин Попов из Ленинграда. Судя по довольно обильной цитации из этих поэтов, они, возможно, и могли бы претендовать на место в «Дне поэзии». Первый из них представляется достаточно изощренным в словесном ремесле (только очень уж «литературным», книжным), второй более «самородный», но едва ли оправдывающий те «баллы», которые ему щедро присудил И. Сельвинский.

С ответом Сельвинскому выступил критик Б. Сарнов в той же «Литературной газете». Он возражал против субъективности оценок Сельвинского, справедливо критикуя ту «иерархию» талантов и оценок, которая предлагалась Сельвинским в зависимости от «способности» к «деланию стихов»: «В том сложном и многообразном сочетании качеств и дарований, которое в просторечии именуется талантом поэта, эта способность — далеко не самая крупная величина», — писал Б. Сарнов.

Однако и Б. Сарнов уходит от решения вопроса, беря под сомнение само понятие «таланта» и выдвигая как качество, присущее поэту, — необходимость для него высоких человеческих моральных качеств. Спору нет, это обязательно для поэта. Но вопрос о таланте этим никак не снимается. А для таланта прежде всего нужно что-то свое, свой голос. Пусть даже у него не очень-то выходит «делание стихов»!

Ведь «асы ассонансов» и «ритмики и рифм профессора» еще не определяют истинного достоинства поэзии. С не меньшим успехом в недалеком будущем их сможет заменить кибернетическая машина. Поэзия ведь не в открытии еще одной какой-то необыкновенной комбинации рифм или ассонансов. Как говорил В. Маяковский, поэзия — «вся езда в незнаемое»! Но это не означает, что в таких «поездках» можно ограничиться лишь открытием новых ритмов и ассонансов! Ведь и «традиционные» ямбы и хорей несколько не ограничивают «езду в незнаемое» поэзии. Напомним творчество таких различных поэтов, как А. Твардовский и Н. Заболоцкий.

Беда в другом. Инфляция в поэзии совершается потому, что многие поэты не заботятся об открытии новых пространств, не проявляют своего поэтического восприятия

жизни, не очень-то заботятся продумать и осознать ее явления, попросту говоря — не имеют что сказать. Над одними тяготеет книжность, литературная эффектность, стремление к самодовлеющим поискам необычных метафор и ассонансов, изысканных ритмов. Огонь поэзии поэтому светит у них холодным, искусственным светом бенгальских елочных фейерверков. Другие не выходят за пределы стандартных представлений, общеизвестных истин, громогласной риторики, пересказывания учебника политграмоты. Получаются гладкие, бесцветные вирши, в которых не чувствуется подлинного переживания поэта, своего отношения к теме, а толпятся лишь многочисленные восклицательные знаки.

Вот это «свое» и нужно поэзии. Свой угол зрения, свое восприятие жизни, свое «видение мира». Тогда поэт найдет и свою «форму», свой «голос». Если этого нет — нет и поэзии.

Александр Блок как-то писал по поводу стихов одного второстепенного поэта: «В стихах всякого поэта $\frac{9}{10}$, может быть, принадлежит не ему, а среде, эпохе, ветру, но $\frac{1}{10}$ — все-таки от личности». Вот этого ощущения личности поэта (не только «лирического героя»), его отношения к миру, как это ни странно, прежде всего не хватает многим молодым нашим поэтам. Поэтому и получается «делание» стихов «без божества, без вдохновенья», технически «грамотных», нередко даже виртуозных, но лишенных внутренней пружины.

Читая стихи, появившиеся за последнее десятилетие, невольно думаешь о том разнообразии размеров, ритмов, рифм и ассонансов, которого достигла современная поэзия. То стих «лесенкой» Роберта Рождественского, напоминающий стих Маяковского, то вытянутая «парабола» Андрея Вознесенского, то прозаически сдержанные строки Бориса Слуцкого, то белый стих Владимира Солоухина. А рядом с ними литые «честные» ямбы Николая Заболоцкого или по-некрасовски звучащие, поющие стихи «Василия Теркина» Александра Твардовского. И тут же несколько «растрепанные», выразительные дольники Е. Евтушенко или Беллы Ахмадулиной.

Это хорошо. Это говорит о разнообразии и богатстве русского стиха, о его неисчерпаемых возможностях, неиссякаемых запасах

интонаций, ритмов, мелодий русской речи. Трудно, да и не нужно отдавать преимущество той или другой системе стихосложения. Можно лишь порадоваться, что русский язык представил столько возможностей нашим поэтам, оказался столь ритмически емким и музыкальным. Это победа русского стиха, результаты которой еще далеко не учтены. Кстати, следует заметить, что даже в теории литературы еще нет достаточно продуманных определений для «вольного», «акцентного» стиха, для современных дольников.

В своей недавно вышедшей книжке «Товарищ поэзия» М. Луконин передает свой спор с А. Твардовским. Он рассказывает, как принес Твардовскому поэму «Дорога к миру», принятую к печати в «Новом мире». А. Твардовский, прочитав поэму, сказал: «Ей бы цены не было, если бы она была написана человеческим стихом!» Для него оказался неприемлемым рубленный, слишком «прозаизированный» стих поэмы Луконина. И это несмотря на наличие множества поэтов, пишущих таким «рубленным» стихом или стихом «лесенкой», продолжающих традицию Маяковского. Твардовский, сторонник классического стиха, по-своему был прав. Но так же прав и Луконин, избравший для себя «свободную», «акцентную» систему стиха. Решение этого вопроса принадлежит только практике, результатам, достигнутому тем или иным поэтом. Ведь самая «форма» стиха (естественно, и размер и ритм его) содержательна, неотрывна от смысла. Поэтому, если, скажем, переделать стихи Луконина на четырехстопный ямб, а стихи Твардовского выписать, соединяя по несколько в одну строку, то получится дикий бред, хотя их «содержание» в основном бы и не изменилось.

Поэтому и невозможно определить с позиций каких-либо «нормативов», какой принцип стихосложения «лучше». Лучше такой, который наиболее полно и совершенно выражает мысли и чувства поэта. Но в то же время следует рассеять представление об ограниченности ритмических возможностей размеров классической метрики и неограниченности «свободного» стиха. Ведь стих Пушкина и Лермонтова настолько разнообразен и богат, что им переданы самые сложные и разнообразные оттенки смысла. И в то же время стих Маяковского, необычайно емкий и индивидуальный в его произведениях, при непосредствен-

ном обращении к его ритмической системе (у А. Вознесенского или Р. Рождественского) оставляет невольное впечатление подражания. Стих Маяковского настолько «личен», что не может явиться «канон» для целой стиховой системы. (Справедливости ради следует сказать, что стих Луконина не следует непосредственно за Маяковским: в нем ритмический принцип ослаблен, он более прозаизирован интонационно и синтаксически.)

Да и творчество Маяковского при всем своем мощном воздействии на современную поэзию не отменило ни классических ямбов, ни дольников. Большинство поэтов продолжают и до сих пор эти традиции. Ведь метрический стих, силлабо-тонический благодаря ритмическим изменениям, интонационным нюансам, ритмическому импульсу остается и до сих пор поистине универсальным, не налагает своей принудительности на творчество того или иного поэта.

Это не означает, конечно, отказа от стиха Маяковского, от «свободного» размера вообще. Я лишь хочу сказать об особых трудностях этого пути. Для Маяковского ритм оставался непреложной организующей силой; рифма для него «бочка с динамитом», «строчка — фитиль», совместно производящие «взрыв». А в большинстве стихов, написанных современными поэтами «свободным» стихом или «лесенкой», этого взрыва нет. Они часто прозаичны, вялы, не запоминаются.

Вероятно, ощущение стиха, его ритмической наполненности исторично — различно для разных эпох. Но, кроме того, существует и мода на «прозаизированные» стихи, на ассонансы, на распадающиеся в ритмических переборах дольники. И на фоне этой модной «виртуозности» задыхающихся ритмов нередко кажется, что глотаешь морозный и чистый воздух неподдающихся тлену, времени кованых пушкинских ямбов, читая:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия...

Меня могут упрекнуть в отрыве от современности, в поэтическом консерватизме. Но я не умаляю значения тех поэтических перемен, которые произошли в современной поэзии, а хочу лишь напомнить, что и

четырёхстопный ямб имеет в советской поэзии все права гражданства.

И еще об одном явлении. О словесной инфляции. У нас пишут и печатают тысячи и тысячи стихов. Это хорошо. Но, к сожалению, нередко поэт забывает о слове. А тогда никакая «виртуозность» ритма и рифмы, ни важность содержания его не спасут от провала. Слова в таких случаях мстят поэту. Не буду распространяться на эту всем известную тему. Кажалось бы, «уж сколько раз твердили свету», и тем не менее это приходится повторять снова и снова. Дело даже не в явных ляпсусах или ошибках языка: они бесспорны, их легко заметить (хотя они тоже встречаются не так редко). Речь идет о другом: о словах или выветрившихся, потерявших свое значение, или о словах, попавших не на свое место, торчащих каким-то уродливым шишом.

Еще Пушкин говорил, что «истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, такого-то оборота, но в чувстве соразмерности и сообразности».

О вкусах надо спорить. Ведь безвкусица порой вытекает из всей системы автора, из небрежного отношения к слову.

Приведу несколько примеров (количество их можно было бы космически увеличить) из стихов разных поэтов — и начинающих, и имеющих уже солидный стаж.

Вот например:

Хорошо, когда можно вот так, без остатка(!),
Распылаться(?) стихам,
как в тайге костеркам.

Как это «распылаться»? Разве есть слово «пылаться»? (да еще «без остатка»?) А как ужасно, антипоэтично это «костерок»!

Или:

Чтоб сердцами рваться в высь,
В чистоту(?) и высоту...

Поразительно безвкусно это «рваться» (да еще «сердцами») «в чистоту».

«Рваться» же в «высоту» и «в высь» — одно и то же.

Или:

Его скульптор лепил. Вернее,
умолял попозировать он.

Или:

Хожу к тебе, все больше подмечая,
Что ты как бы (?) бежишь

Из наших мест,
Минувшее свое перемочаливая...

Едва ли можно бежать «как бы» (даже в переносном смысле). А «перемочаливать» минувшее и вовсе противоположано.

Или:

Из последнего тихого стога Матросова, недожившего, может быть, семьдесят лет и на камень гранитный шагнувшего бронзово, чтоб оставить во мне нестираемый след.

Я не говорю уже здесь о самом существовании дела: Матросов не для того закрыл грудью амбразуру дота, чтобы оставить «нестираемый след» в душе автора. Но «нестираемый» так и хочется прочесть раздельно, ассоциация со стиркой здесь остается цепкая. «Камень гранитный» нечто вроде «масла масляного», а шагнуть

«бронзово» — совсем уж плохо. Какой-то неуместный игорь-северянинский неологизм.

Я уже говорил, что количество подобных примеров можно легко увеличить. Но я не собираюсь давать каталог примеров. Хочется лишь еще раз напомнить слова Гоголя, сказанные им о Пушкине: «Никто из наших поэтов не был еще так скуп на слова и выраженья, как Пушкин, так не смотрел осторожно за самим собой, чтоб не сказать неумеренного и лишнего, пугаясь приторности того и другого».

Мало к кому из наших поэтов можно применить эти слова Гоголя. А их нужно вспоминать постоянно.

К Александр Оваленков

Там, где не нужно объяснений...

Еще доцветала сирень, но уже в затени; на солнце грозди ее поблекли, и нельзя было издали отличить, где осыпается, жухнет обыкновенная лиловая, а где держится, мельчая и не осыпаясь, белая — декоративная. Не дождливый, жаркий и влажный — зимой было много снега — май не хотел уходить с городских окраин. Он отдавал в наследство июню разом — и сирень, и розово-желтую сладкую пестрядь шиповника, жасмина, и непривычный для скверов и переулков запах смолы, хвои, негородского леса. Собственно, мы были уже за чертой города. Моя собеседница, когда мы пересекали железнодорожное полотно, спросила:

— Это так называемая Окружная?

— Нет, — сказал я. — Ржевская, платформа Гражданская, а раньше — полустанок Зыково; вступаем в Тимирязевский заповедник, а раньше назывался — «казенный лес».

— Знаю, — сказала моя спутница. — Здесь есть Соломенная сторожка, раньше приезжали сюда московские горожане с кулечками домашних пирожков и саек, за небольшие деньги в «академической чайной» можно было получить самовар, чистую скатерку и где-нибудь под елочкой, на траве, организовать мещанский пикник.

— Верно, — сказал я. — Только почему же мещанский? Ходил я сюда со своей бабушкой, помню, как обжег руку о тонкий, ажурного стекла, стакан, и вкус паточных леденцов помню.

Так, разговаривая о том о сем, мы окунулись сначала в прохладу и светотень подпоясанных волейбольными сетками нестарых дубов, прошли мимо детских колясок и нянь с неизменным шитьем или вязаньем, помешали играть в расшибалочку на полянке неугомонным мальчишкам и какому-то мрачному великовозрастному дяде и зашагали не по тропинке, а прямо по березовому подлеску.

За нами неодобрительно наблюдал толстый, выдавший в этих местах, видимо, всякое гражданство: дескать, куда движется пожилой товарищ и юная женщина? Ходить вне дорожек по заповеднику запрещено; кроме того, если не знаете, что здесь, бывает, и хулиганят, то спросите меня, а если знаете, то и совсем нехорошо, зачем углубляться в чащу?

— Бегство от недреманного ока... Странно, что он не закричал: «Держи!» — сказала моя спутница.

Мы расположились на траве, вдалеке от дачных прогулочных преддверий заповедника. И то ли от стихов, что начала читать моя спутница, то ли от воспоминания, что нас кто-то преследовал, у меня возникла странная мысль, что я должен

достать из полевой походной сумки блокнот и записывать нашу беседу. Поэтесса, что занималась пять лет на моем литинститутском семинаре, читала:

И снова, лишь стоит закрыть мне глаза,
Как вижу тебя затемненной,
Москва в сорок первом. Тревожный вокзал
И воинские эшелоны.
И, быть может, если вот так постоять
С зажмуренными глазами,—
Солдатская юность вернется опять,
Поскрипывая сапогами...

А мне вспоминалось... впрочем, я об этом писал когда-то, в тревожные осенние дни 1941 года, на страницах нашей фронтовой газеты, где был спецкором:

«Возле небольшого шалаша из еловых веток сидит боец. На нем ватная стеганка, брюки, заправленные в прочные яловые сапоги, пилотка, из-под которой выбиваются русые волосы.
— Тов... — окликает бойца политрук, — к вам гости.

Боец оборачивается.
Наш любопытный взгляд вызывает легкую краску смущения на ее щеках.
— Садитесь, товарищи,— говорит она, и мы садимся на лиловые осенние мхи и оранжевые сентябрьские травы...»

Дальше во фронтовой газете рассказывалось, как политрук объяснял двум корреспондентам, почему девушка-боец не сообщила нам подробности боя за высоту С.

«— ...Скромничает товарищ. Других хвалит, а о себе ни слова. Ведь перед боем за высоту С. что было: приходит она и говорит: «Желаю участвовать в атаке». Тот, конечно, ни в какую. «Не ваше, говорит, это дело, запрещаю» — и так далее. Она — в слезы. Командир только крикнул и рукой махнул. Короче говоря, пошли бойцы в штыковую, и она вместе с ними. Настояла-таки на своем. А когда сбили немцев с сопки, отложила винтовку и ранеными занялась».

Мне вспоминалось...

А в полусонь и тишину июньского подмосковного леса просачивался далекий, затухающий запах обыкновенной мирной сирени; умело подобрав край хорошо сшитого летнего платья, русая, светлоглазая поэтесса читала стихи:

...И опять — сторона глухая,
Партизанский лесной уют.
И на улице тишь такая,
Словно бой через пять минут.

Моей обязанностью педагога было делать замечания о композиции стихов, точности рифм, советовать не злоупотреблять инструментарием и, наоборот, подчеркивать интонацией смысл... а мне вспоминались моя офицерская шинель и плащ-палатка. Хорошая была плащ-палатка. Помню, мы с политруком Будашевским ночевали у разведчиков в окопчиках под сопкой Лысой, там я ее, плащ-палатку, и оставил.

...Вновь снежинки надо мною кружат, тихо
оседая на висках.
Ставшая большой любовью дружба умирает
на моих глазах.
Сколько раз от смерти уносили мы с тобою
раненых в бою —
Неужели мы теперь не в силе воскресить,
спасти любовь свою?

Над головой автора первой книги стихов «В солдатской шинели» шумела листва наших милых московских берез и кленов, плыли облака городских пространств и полевых просторов, и очень, очень к месту и ко времени продолжали звучать, летя дальше, вперед, строчки:

...Все мне кажется — горный ветер
Чем-то близок ветрам атак...

А мне и теперь кажется, когда я встречаюсь с поэтессой Юлией Друниной, что новые ее стихи продолжают тот прекрасный цикл, с которым она заканчивала Литературный институт.

...По тропинке шатаю узкой,
Повторяю (который раз):
— Хорошо, что с душою русской
И на русской земле родилась!

И незачем ей преждевременно вздыхать на есенинский манер: что, дескать, со мной случилось...

Как я раньше тратила без счета
И часы и целые года.
День прошел? Подумаешь, забота!
Год промотан? Тоже не беда!
Что ж со мной, такой беспечной, сталось?
Почему мне дорог каждый миг?
Неужели рядом бродит Старость —
Осторожный и скупой старик?

В книге избранных стихотворений поэтессы впервые — к слову сказать — абсолютно «друнинские» небольшие лириче-

ские миниатюры имеют дату: «42 год». Третье десятилетие так называемой поэтической деятельности... Ну о какой «старости» может идти речь? И заголовок «Тревога», думаем, правилен. Не ветер воспо-

минаний, а «прометеев огонь» является сущностью творчества поэтессы. Объяснять, отчего ее стихи понятны и дороги нашим старшим товарищам и не очень старым друзьям, думаю, незачем.

Д АЛЕКСАНДР ЫМШИЦ

О книге, которая будет

Этой небольшой и, в сущности, лирической заметкой мне хочется приветствовать рождение новой книги стихов.

Нового сборника стихов Сергея Васильева, о котором пойдет речь, еще нет. Но он создается, и мы, читатели, уже видим его очертания в тех стихотворениях, что напечатаны в «Правде», в «Литературной газете», в «Октябре», в «Дне поэзии 1963 года». По этим стихотворениям угадываются характерные черты будущей книги.

Книга будет о загранице. Сергей Васильев в последние годы много ездил по разным странам. Он узнал такие страны социалистического лагеря, как Венгрия, Польша, Чехословакия, о них прежде всего будет рассказано в стихах нового поэтического сборника. Побывал Сергей Васильев и в Австрии, во Франции, в Италии. Мир капитализма с его контрастами резко запечатлелся в памяти поэта, вызвал у него глубокие раздумья.

Сергей Васильев — поэт с отчетливо выраженной творческой индивидуальностью, с весьма определенными художественными традициями. Мне уже приходилось писать, что он вырос из некрасовских традиций, что ему близки Демьян Бедный, Маяковский, Асеев. Хочу повторить эту мысль — она помогает разобраться в чертах облика его будущей книги. С. Васильев — мастер рассказа в стихах. У него простые и сердечные интонации, доверительный тон доброго друга, товарища, и это тотчас же располагает читателя в его пользу, заставляет слушать, испытывая симпатию к поэту-рассказчику, сочувствие к людям, о которых он повествует, «соучастие» в событиях, о которых он поведал.

В рассказах-стихах Сергея Васильева о за-

границе читатель не чувствует дистанции между собой и поэтом. Разговор идет от сердца к сердцу. И уже кажется читателю, что он вместе с поэтом следит за судами и суденышками, плывущими по Сене, что в этом огромном и многоцветном Париже он вместе с поэтом испытывает тоску по отчизне (стихотворение «У самого берега Сены»). И вот уже поэт не просто рассказывает читателю об итальянских рабочих, а ведет его с собой во флорентийский рабочий клуб, и мы видим всех этих веселых и прекрасных людей, отдыхающих после нелегкого труда, и нам кажется, что мы вместе с ними и с поэтом поем «Подмосковные вечера» (стихотворение «В рабочем клубе во Флоренции»).

Это умение рассказывать просто, живо, неподдельно, искренне, увлекательно и сердечно будет, думается, одной из ведущих черт будущей книги Сергея Васильева. В этом можно не сомневаться. В этом убеждают все доселе опубликованные стихи из «выстреливаемого» поэтом сборника. В стихотворении «Сделано в СССР» он ведет нас по Советской выставке в Париже. В стихотворении «Гондольер поет страдание» мы вместе с поэтом — вслед за поэтом — с первых же его строк втягиваемся в процесс разгримировывания действительности. Сергей Васильев показывает нам, что за внешней картинностью, за стилизованной росписью гондол на канале Гранде в Венеции скрывается довольно прозаическая реальность. У поэта очень трезвый, очень реалистический взгляд на вещи. Он умеет за дымкой «кажимости» различить подлинную сущность.

Вот идут по каналу «лебединой чередой» легкие расписные гондолы:

Та — стройней виолончели,
эта —
с модою в ладу,

с нарисованным на теле
попугаем какаду.
А у этой,
а у этой
стан
струит
голубизну,
как у грации,
одетой
в набежавшую волну.

Но такова лишь внешность, а порой и видимость.

Правда,
если дымку снимем,
то почему —
боже мой! —
та —
пропахла керосином,
эта —
рыбьей чешуей.

А за сим — резюме, вывод:

Нет
гондол — морских богинь,
есть
гондолы-работяги,
грузовые, как ни кинь...

Очень хорошо рассказывает Сергей Васильев. Он приближает нас, его читателей, к событиям, он сближает нас с людьми — своими героями. И уже близким сердцу становится словацкий партизан в Братишлавле, случайно встреченный поэтом, и уже волнует нас рассказ этого бывалого воина свободы, его биография и его исповедь (стихотворение «Русский язык»). И живой, почти пластической вырисовывается перед нашим мысленным взором фигура венецианского гондольера, поющего на русском языке «костромские страдания». Этого итальянского парня, которого некогда дуче погнал на Восточный фронт, не постигла судьба героя знаменитого светловского стихотворения «Итальянец». Он угодил в плен и в Советской стране познал то, чем могли одарить его прежде все советские люди, — идеи демократической солидарности трудящихся, идеи дружбы народов и революционного интернационализма. Фигура эта в некотором роде символична: она как бы символ сражающейся демократии на Западе, той, которая приходит опоясанная бурей и несет неизбежную гибель буржуазному миру.

«Заграница» Сергея Васильева — это пре-

жде всего лирика высокой дружбы между народами, это лирика, воспевающая наших друзей, преобразующих жизнь на новых началах в странах социализма и борющихся за свободу и справедливость в странах, пока еще подвластных капиталу.

В лирических стихах Сергея Васильева о загранице отчетливо виден образ автора, чувствуется его социальный характер. Это поэт четкой политической мысли, художник строго реалистического письма. В его стихах живет почти репортерская достоверность деталей, результат большой наблюдательности. Его образы и зарисовки живописны, порой резко графичны. У этого поэта большая гамма красок. Он может быть лиричен, как в стихотворении «Дом Полины Виардо», где все проникнуто трепетным волнением, где над всеми мыслями господствует поэтическая дума о Тургене-

Как трудно дышать почему-то
на взгорье,
как сердце стучится
в груди учащенно,
а ум лихорадочно
быстро рисует
далеких возможных мгновений
картины.
По этой вот узкой тропинке,
наверно,
за тем вон крутым поворотом,
быть может,
шагал он,
задумчиво глядя на землю,
заветные мысли свои выверяя...

Но Сергей Васильев может быть и совсем иным — беспощадно злым, остро сатиричным. И тогда из-под его пера выходят графически резкие шаржи, тогда он в нескольких строках, — как монахов в концовке его венецианского стихотворения, — клеймит явления, которые отрицает и презирает всем сердцем. Вот эта концовка, несколькими штрихами рисующая контраст между тем, что украшает и что уродует мир:

И опять пошла гондола
гладким днищем по волне,
ходом спорым и веселым
с вапаетто наравне.
И опять
монахи стыли,
пустотелье до дна,
как порожние бутылки
из-под кислого вина.

Все, что напечатано Сергеем Васильевым из его будущего сборника, радует читателя и вселяет в него добрые надежды. Ве-

рится, что книга будет, что читать ее будет интересно, полезно и весело (в самом высшем смысле этого слова).

МЕвгений ОЗОЛЬКОВ

«И снова нет мечтам предела...»

Поэзия Григория Санникова, одного из зачинателей советской литературы, — ровесница Октября. Почти столетия приносит она читателям радость неброской, но живой и человечной своей красотой, мудростью проникновения «в суть вещей».

Сборник избранных произведений Григория Санникова — итог работы поэта — называется просто «Стихотворения». «И снова нет мечтам предела...» — строчка, которая, на мой взгляд, хорошо передает душевную настроенность Григория Александровича, чувствующего себя, «как положено в бою», всегда «на вахте при любой погоде».

«В партии состою с марта 1917 года, — рассказывает поэт. — Выступать в печати со своими стихами начал тоже с этого времени. Мне, как и моим сверстникам, дорогу в литературу открыла Октябрьская революция. Она дала нам свою тему, свое содержание и новое виденье мира».

В ранних стихотворениях Санникова можно встретить довольно частое в поэзии 20-х годов раскрытие городской рабочей темы с помощью деревенской образности, навеянной фабрично-крестьянским бытом:

Вышли дворники с метлами —
На асфальтовый луг косари.

И в другом месте:

По мостовой порхнуло яркое
Румяное «ку-ка-ре-ку».

Своеобразное, волнующее неподдельным лиризмом восприятие борьбы за революционное переустройство жизни выражено во многих стихотворениях и поэмах сборника. Лучшие среди них: «Прощание с керосиновой лампой», «На окраине», «Ленин

и Уэлле», «Сказание о двадцати шести...»

Автор включил в сборник около тридцати «морских стихов». О море писали замечательные русские поэты. Бурные, бесконечные просторы вызвали представление о свободе, ощущение силы и красоты человеческого духа, мечты о счастливой, блаженной стране. Цикл стихов Санникова «Океан» (1926—1960) — это не просто дань «морской романтике», хотя есть в этом цикле и стихи, испорченные ненужными «красивостями». Всем сердцем «слушая океан», который «по размаху нам сродни», поэт полон дерзновенного стремления к новому, неизведанному. Вместе с ним мы ощущаем, как в синеве над нами движется другое море — «неслышное, звездное, облачной, белой вскипая волной». Познанию и покорению этого другого океана посвятил Санников немало душевных и умных строк. Летчики-космонавты Андриян Николаев и Павел Попович писали в «Правде»: «Мы были не одиноки в космосе, где-то над нами носились советские искусственные спутники Земли». Хорошо сказал о первом спутнике поэт Григорий Санников:

Он первым продолжил дорогу
Для межпланетных кораблей.
И пусть он жил совсем немного,
Но стало на Земле светлей.

Влечение к романтике, очарованность звездными дорогами, далью морей и океанов никогда не мешали крепкой связи поэта с родной землей, с великолепной «прозой» социалистического строительства. Написанная Г. Санниковым в 1933 году «Баллада о каучуке» звучит, как и вся книга его, свежо и современно.

Элементы и атомы,
В менделеевский взятые круг,
Сделали химию самой богатой
И самой творческой из наук.

Много умения, упорства, полной отдачи душевных сил требует от поэта его работа. В ковровой мастерской он как друга и товарища привечает ткача — человека близкой ему, трудной профессии.

День за днем — узлы да слезы,
Шелест ниток, шелест слов.

«Стихотворения» Григория Сапникова — лучшие из созданного многолетним, упорным, вдохновенным трудом — читатель примет с благодарностью.

Б Сергей Аруздин

По-настоящему

В издательстве «Советская Россия» в 1963 году тиражом в 150 тысяч экземпляров вышла книга Дм. Еремина «Пастухи и волки». В издательской ссылке сказано, что она предназначена «для детей младшего школьного возраста».

Мне думается, что это уже само по себе интересно. Взрослый писатель написал книгу для детей. Более того — взрослый прозаик написал стихотворную книгу, адресованную ребятам. Это случается не так часто!

И вот я читаю эту книгу. Читаю начальные строки ее:

...За двором шумит станица,
За станицей — ковыли.
На дороге пыль клубится,
Бричка движется в пыли.

И, каюсь, уже эти строки мне нравятся — они настоящие, поэтические. И дальше идут такие же строки. Вот, например, автор говорит о степном утре:

Степь кругла, как блюдце,
Жаворонки вьются,
А над хатой и трубой
Воет ветер голубой —
Голубой да синий,
Молодой да сильный.

Я читаю дальше и опять не могу отказать себе в соблазне процитировать строки из стихов:

После дня сухого
На степные плечи,
Как платок пуховый,
Тихо ляжет вечер.
И над розовой водой
Встанет месяц молодой.

А сколько таких строк в книжке «Пастухи и волки»! Необычно, может быть, название этой книжки, необычно даже для так называемой детской поэзии. Но, мне думается, это и хорошо. Уж слишком порой узок круг внимания некоторых авторов книг для детей: они пишут об игрушках и цветочках, о взаимоотношениях Вань и Мань, Толь и Коль, а жизнь — большая, серьезная, сложная наша жизнь — остается где-то в стороне.

Поэтический рассказ Дм. Еремина посвящен нашей жизни, современной жизни, и написан он не только поэтически верно, ярко и образно, а и жизненно достоверно, убедительно. А если уж учитывать возраст читателя, которому адресована книжка, то надо добавить: это — рассказ остросюжетный. В поэзии для детей (да и в прозе) это очень важно, ибо книгам нашим для ребят часто не хватает сюжетности, острой увлекательности; они грешат и назидательностью и, что еще хуже, описательностью.

История простых деревенских мальчишек Миши и Коли, их встречи в степи с волками (не какими-нибудь, а настоящими) описаны автором настолько убедительно, драматично и вместе с тем поэтически, по-настоящему, что, я убежден, книжка порадует как самих детских читателей, так и вообще любого любителя поэзии.

Несомненно, что первая книжка для детей Дм. Еремина «Пастухи и волки» полюбится ребятам. Но пусть и взрослые, будь то критики, родители или просто люди, ценящие и любящие поэзию, обратят внимание на нее. Эта книжка того стоит!

Однополчане

Вот они—на книжной полке — среди многочисленных томиков поэзии, три книжки моих товарищей, три книжки, почти одинаковые по объему, изданные в Москве в прошлом году, три книжки с дружескими автографами на титульном листе. По правде говоря, у меня не было намерения писать на них рецензии. О стихах иной раз намного сложнее писать, чем сами стихи, особенно о стихах, которые понравились. Просто захотелось сказать несколько слов о каждом из них и привести полюбившиеся мне строки.

Сторонитесь, леса

В. Фирсов, «Зеленое эхо»

В оврагах дремлет талая вода.
Глядят купавы желтыми глазами.
И солнце гаснет где-то за лесами,
И вздрагивает
Первая звезда.

Это звучит как прелюдия того загадочного смещения звуков и красок, которое испокон веков повторяется в природе и испокон радует людей, а бывает, и потрясает, заставляет подымать голову и благоговейно глядеть на гаснущий горизонт, на восходящие звезды и слушать, слушать, как, все явственней проступая сквозь тишину, плещет о васильковый берег далекая речка, как сигналият сквозь зеленое эхо машины на незримых, а потому таинственных дорогах...

Было это в 1958 году. Я, демобилизовавшись, работал у себя в колхозе на Винпитчине. Как-то звонит редактор районной газеты и, волнуясь, говорит, что приехал к нам поэт из Москвы, мол, давай кати в район. Володя, тогда студент третьего курса Литинститута, читал нам, начинающим, свои стихи.

Где-то там, за спиной,
Остаются его домочадцы.
К ним в раскрытые окна
Влетает пушок тополей...
Сторонитесь, леса,
Дайте Глинке промчаться!
— Полно, Яков, коней пожалей...

С тех пор я полюбил стихи Вл. Фирсова; в них входешь словно в зеленые врата дремучего русского леса, под своды теплого закатного неба,— в музыку ручьев и шорохов, в мир первозданный, молодой, вечно волнующий.

Мне, по сути, близка и другая сторона его творчества — высокая поэтическая публицистичность. Он нередко обращается к исторической теме, он любит прошлое своей родины, бессмертные идеалы и подвиги своего народа.

Ни возгласа.
Ни слова примиренья.
Я — безымянный.
Я умру в ночи.
Меня уже пытали палачи
За семь веков до моего рожденья.

Преимственность далеких поколений — через века — вот основная тема и сюжетная канва патриотической поэмы «Память». Кровь русичей бьется в жилах России; несмотря на опустошительные войны, татарское иго, тиранию средневековья, Россия сохранила силу духа и золотой блеск своих куполов, свою нежность и славу.

И все-таки моя Россия
Не только Памятью жива.
...Где, темноту навек рассеяв,
Моя высокая земля,
Как Млечный Путь, летит, пыля
Огнями Волги, Енисея...

«Я счастье находил в чужих стихах»

Г. Регистан, «Сердце»

Читаешь стихи — и неожиданно споткнешься об изумительную строфу. О плохую строфу споткнуться нельзя: ты просто проходишь мимо, слегка поморщившись, не оглядываясь, не вспоминая. А здесь вдруг твоё воображение поразят четыре строки, как четыре зари на всех горизонтах. Обычное представление о поэзии исчезает: ты в волшебной власти четырехстишия. Шел человек полями да лесами, радовался деревьям, травам, запахам — вдруг:

Голубиной лирике,
Смелости щеглят,
Лесенке у иволги
Из пяти рулад!..

И все заслоняет голубой простор, куда занесло тебя попутным ветром и куда восторженно вторглось ликование иволги из пяти рулад! Многие стихотворения в «Сердце» Г. Регистана таят в себе такую маленькую руладу, огибающую весь стих.

Но есть у него и другие стихи, стихи, написанные одним дыханием, стихи лаконичные,— в них не улавливаются ни паузы, ни точки, это одно раздумье, одна мысль. Такие стихи запоминаются по первом прочтении. Наизусть.

Апрель, апрель.
Сиреневая даль.
Я взрослым стал. Мне юности не жаль.
Не жаль, что стал к себе и людям строг.
Не жаль, что отдал жизнь на сотню строк.
Не жаль, что на висках холодный иней...
Мне только жалко речки.
Синей-синей.
Что через детство медленно текла.
В ней солнце и покой поныне льются.
Она жива, она зовет вернуться.
Да некогда.

И все. Все стихотворение. Это, наверное, нелегко — несколькими строками создать настроение, заключив в них большой смысл не через сложный образ, необычный эпитет, оглушающую рифму, неожиданный размер. А у Регистана большинство — подобные стихотворения. Может быть, как раз в этом успех его песен.

Трудно себе представить настоящего поэта, который бы не счел за праздник превосходные стихи, удачу другого поэта. И Г. Регистан, ничуть не кривя душой, говорит, как он счастлив

За то, что падал под Орлом
И снова
Вставал и шел, преодолевая страх,
За то, что был к своим стихам суровым
И счастье находил
в чужих стихах.

На южную звезду

О. Дмитриев, «Проспекты и просеки»

Со всеми в юности бывало: приходишь домой под утро, уже светло, за окнами встает новый день, и как хорошо

...Следить, как льет вода из крана,
И долго ждать, чтоб теплая вода стекла,
И брать губами острый край стакана
Из тонкого — как нет его! — стекла;
Поеживаясь, затворять окно
И удивляться, разводя руками,
Что жизнь порой такая, как в кино..

О, мы долго ждем, чтоб увидеть фильм, где было бы все как в жизни, но если поэт говорит, что жизнь бывает как в кино, то мы знаем, о каком кино идет речь,— и режиссера знаем!

О. Дмитриев умеет видеть жизнь в солнечных, песенных тонах, он не смеется, но улыбается — да так, что нельзя и мне удержаться от улыбки; неиссякаемая жизнерадостность, жизнелюбие, как синие рассветные лучи, пронзают его поэзию.

Проживающий в сказочном веке,
Средний житель планеты Земли,
Сколько знаю я!
Древние греки
И мечтать о таком не могли.
...Только я обо всем забываю,
Легкомысленный и боевой,—
Я, бывает, голы забиваю
Драгоценной своей головой.

И это чувство, чувство оптимизма (не боюсь этого слова, говоря о Дмитриеве), не покидает меня, когда я читаю стихи на любую тему, затронутую автором. Еще идут бои, еще приносят солдатам похоронки, но наши наступают где-то и мы увлеченно играем в войну. И вот о родине:

И как врачиха в сбившемся берете,
Что грела нас и тормошила нас.
«Ах, дети, дети,
Милые вы дети...» —
Она твердила, плача и смеясь.

И грош мне будет цена как читателю, если я вместе с Олегом перестану удивляться

Домам, растущим в небо этажами,
Толпе у магазина «Семена»
И беленькой девчонке с чертежами,
В автобусе заснувшей у окна...

И еще — О. Дмитриев лиричен; он поддается соблазну скатиться на пологие рельсы сентиментальности. И пусть его белый лебедь всегда

...Спешит за вожаками
Вперед, на южную звезду,
Над кучевыми облаками,
Не искаженными в пруду.

Открытое письмо В. К. Звягинцевой

Милая Вера Клавдиевна,
Спасибо за книгу «Вечерний день». Я получил ее за час до отъезда, и она теперь уже который день сопровождает меня на всем пути из Москвы в Таллин и Ригу. Я уже ее раза три перечитал и имею в некотором роде основание считать себя «звягинцевоведом».

Об этой книге надо говорить всерьез и по большому счету. Скажу Вам с полной убежденностью в своей правоте: Вы написали превосходную книгу. Стихи в ней — упругие, мускулистые, с искрой и мыслью. Есть в них и акварель и светлая голубизна (не та, что — псевдоним лака, но та, которая создает ощущение сердечности и какой-то удивительной чистоты тона).

Еще показалось мне: книжка получилась очень цельная и органическая. Это не сборник, но именно книга, написанная словно одним дыханием. В одном эмоциональном и психологическом ключе.

Мне особенно понравились такие стихи, как «Я пишу, как дышу...», «Под уклон», «Ты не снись мне...», «Зеркало», и многое другое. Особенно выразительно первое — не натужное, мягкое, очень личное и вместе с тем емкое, просторное, одухотворенное, как и вся книга, выражаясь Вашими же словами из одного стихотворения, «воздухом века».

Не такая пора,
Чтобы жить лишь одною душою,
Нужно кончик пера
Окунуть в море жизни большое.

Эти строки вовсе не воспринимаешь как риторическую декларацию. Они эмоционально подготовлены тремя предшествующими строфами, главная мысль которых сконцентрирована в словах: «Я пишу, как дышу. По-другому писать не умею».

Самые «высокие слова» утрачивают риторический холод, если читатель уверовал, что они вышли из сердца, если они обожжены сильным и искренним чувством.

Книга «Вечерний день» показалась мне и строже и ровнее «Зимней звезды» — предшествующего Вашего сборника. Та книга, вышедшая после длительного перерыва в Вашем оригинальном стихотворчестве, бы-

ла, как мне думается, несколько перенапряжена рефлексией. Хотя и там было немало отличных стихов. Я вспоминаю из той книги острые, пронзительные две строки:

Я чувствую чужую ложь,
Как в грудь входящий острый нож...

Такие строки не придумаете, они рождаются из самых глубин сердца и являются естественным результатом душевного, нравственного опыта человека. Но во многих стихах «Зимней звезды» преобладала почему-то грустная, минорная интонация — вот та самая «железная печаль в груди», о которой Вы писали в стихотворении «Памяти друга».

«Вечерний день» — книга более прямая и ясная, мужественная и зрелая. Почти в каждом стихотворении здесь находишь строку или строфу, которая заставляет тебя снова и снова перечитывать и передумывать все стихотворения.

Последняя Ваша книга отличается точным, мыслемкким словом.

Скоро — в серебре и черни —
Ночь обступит немой.

Этим двум строчкам из стихотворения «Вечерний свет», мне кажется, мог бы позавидовать самый взыскательный мастер! И какая-то она вся просторная, светлая, эта книга. Светлая даже в своей печали, кое-где мелькающей. Я вспоминаю стихотворение «Ты не снись мне...» — доброе и мудрое. Каким истинным душевным мужеством и глубоким человеческим чувством проникнуты все двадцать четыре строки этой нелегкой лирической исповеди.

А сколько еще других, не менее сильных и выразительных, стихов находим мы в этой же книге! Стихов очень разных, но единых в своей внутренней идейно-эмоциональной устремленности.

Когда живешь ты на просторе
И чувств не удержишь под замком —
Чужие радости и горе
Становятся твоим стихом.

В этом четверостишии выражена, можно сказать, вся философия книги, ее жизнеутверждающий и жизнестроительный пафос.

Впрочем, я был бы неискренен, Вера Клав-

дневна, если бы старался внушить Вам, что все стихи этого сборника одинаково хороши. Нет. Не все хороши.

Я мог бы назвать несколько слабых стихотворений: например, «Павлу Антокольскому», да, пожалуй, и «Улаповой», да и «Памятки». На них лежит довольно заметный налет и риторики и сентиментальности. Эти вещи — словно еще не написанные, слишком лобовые. В них мысль не обрела еще поэтической плоти. Каждое из них — материал для здания, но еще не само здание. Но, может быть, эти стихи еще более оттеняют значительное, что содержится в Вашей книге.

Лев Левин

Мир всерьез

Иногда бывает и так: можно долгие годы печатать стихи и впервые собрать их в книгу лишь на пороге второго десятилетия литературной работы. Как тут не посочувствовать поэту! Но — парадоксальная вещь! — как вместе с тем не порадоваться, что его первая книга, в отличие от многих и многих других первых книг, отмечена и цельностью замысла, и глубиной содержания, и точностью формы. По правде говоря, не такой уж частый случай — первая книга знакомит нас с поэтом, который не просто заявляет о том, что он имеет право писать стихи, но обладает своей интонацией, своим отношением к миру, своим почерком. Первую книгу Владимира Корнилова «Пристань» открывает стихотворение «Осень». Ведь гораздо чаще первые книги поэтов открываются стихами о весне. Но именно к весне Корнилов относится с удивительной для его возраста сдержанностью. Да, март пленяет его своей мальчишней прелестью, апрель — молодостью, но привлекательнее всех для него, как выясняется, осенние месяцы, когда:

Под взглядом косоного солнца
Под клетком журавля
Природа уже
Червонца
Не сделает
Из рубля.

Осенний ветер, «как недовольный мастер», срывает листья с деревьев, но поэт не жа-

И еще подумалось мне: почему так скупо печатаете Вы свои оригинальные стихи? Два последних Ваших небольших сборника достаточно наглядно говорят о том, каким серьезным Вы владеете поэтическим потенциалом, и сколь малая его доля, если иметь в виду количественную сторону дела, отразилась в этих книжках.

Хочется пожелать Вам, Вера Клавдиевна, здоровья и неугасимой творческой энергии. Почаще вспоминайте о тех своих благодарных читателях, которые ждут от Вас новых прекрасных стихов.

леет об этом: «Слетают пестрые листья, и остается суть».

Позвольте, заметит иной читатель, а где же поэтическое восприятие мира? Неужели голые сучья поэтичнее покрытых пышной листвой зеленых ветвей?

Но стоит ли судить так поспешно, не лучше ли прочесть книгу до конца? Может быть, тогда прояснится и смысл метафоры, которую только впопыхах можно принять за проповедь рационализма в поэзии...

Автор «Пристаней» выступает конечно же против ложной поэтичности со всеми ее традиционными атрибутами вроде пестрых листьев. Он не собирается мистифицировать читателя, делая рубли из копеек и червонцы из рублей. Он просто не может позволить себе этой сомнительной роскоши, на которую столь падки иные молодые, да, увы, и не только молодые поэты.

Во-первых, годы уже не те («...Я впервые понял: речь про годы — не пустая речь, и, как будто невзначай, ладонью возраст свой потрогал, словно вещь»). Во-вторых же, — и это, разумеется, самое главное, — автора «Пристаней» ничуть не привлекает псевдопоэтическая игра пестрых листьев — он отлично знает, что рано или поздно ветер непременно сорвет их и тогда-то и останется подлинная суть.

Поэтому вслед за «Осенью» он помещает в книгу стихотворение, заканчивающееся так:

Лили ливни,
Грохотали громы,

Рыжая река текла с берез,
И на мир,
Веселый и огромный,
Я глядел не с грустью,
А всерьез.

Мне кажется, эти строки точно передают своеобразие книги.

Может быть, тот же торопливый читатель скажет, что Корнилов только на словах называет окружающий его мир «веселым и огромным», а на самом деле видит его грустным и маленьким.

Убежден, что это не так.

Да, взгляд поэта на жизнь лишен той приплетывающей веселости, которую мы порой все еще продолжаем принимать за подлинный оптимизм. Но в то же время это вовсе не грустный взгляд. Серьезный, но не грустный.

Всерьез о детстве («Окраина», «Бабушки», «Я рос в Днепропетровске...»), всерьез о нелегкой армейской службе («Повестка», «Лошадь», «В степи», «То стрельбы, то караулы...»), всерьез о любви («Был я парнем вспыльчивым и грубым...», «Она одна тебя любила...», «Не тоскуя и не стараясь...»), «В октябре затерялось начало начал...»), всерьез об искусстве и поэзии, об ответственности поэта («Лермонтов», «Встреча», «На сцене», «Словно бы не издавна, а из первых рук...»), «Поиск», «Пристань»). Всерьез о жизни, окружающей поэта, проявляющей себя и в большом и в малом, и в значительном и во второстепенном и в каждом своем проявлении таящей сокровенный и порой подвластный одной только поэзии поистине вещей смысл.

Я не хочу сказать, что в первой книге Владимира Корнилова все написано одинаково всерьез. Кроме тех мотивов, которые я

только что столь условно и схематично обозначил (детство, служба в армии, любовь, искусство), известное место занимает в книге тема дальних походов с рюкзаками и палатками за спиной («Три месяца мы с пробами ломались сквозь кедрач...»), «Иван Тарасыч», «Медведь», «В Якутии»). Эта довольно традиционная тема, на мой взгляд, наименее удачно решена поэтом, а стихотворение «Медведь» — едва ли не самое слабое в книге.

Многозначительно и, как мне показалось, претенциозно стихотворение «Чемпион».

Но преобладающий тон первой книги Владимира Корнилова — подлинная и глубокая серьезность отношения к жизни, к человеку, к его мыслям, чувствам и делам.

Вот, собственно, и все, что мне хотелось сказать о первой книге Корнилова. Это не рецензия на «Пристань», а лишь беглый отклик на только что прочитанную книгу даровитого поэта.

Я хотел бы закончить свою заметку словами самого Корнилова. Они очень характерны для его книги и точно выражают его представление о высоком призвании поэта:

В чем суть?
Не в том —
Мол, сядь, пиши.
А в том,
Чтоб с дальних улиц
Все души
Ото всей души
К тебе тянулись.

Их должно ждать,
Спасать,
Снабжать
И добротой и мощью,
А после —
Можно и писать,
Писать —
Оно попроще.

С Феликс ВЕТОВ

Несколько слов
о книжке Юрия Левитанского

Как приходят к тебе стихи, входят в тебя, в тебе живут? И существуют ли стихи сами по себе, отдельно от тебя, или они становятся поэзией, только соприкоснувшись с твоими собственными чувствами, вкусом, опытом, страстью — с твоей радостью и бедой, — получив в тебе продолжение, говоря словами Алена Боске, современного

французского поэта и критика? А что это такое — продолжение поэзии в человеке: процесс пассивный или — активный, нечто родственное самому творчеству?

Почему всеми этими банальными, но для меня очень важными сегодня вопросами я задаюсь сейчас, читая книжку Юрия Левитанского — поэта, как принято говорить, «военного поколения»? Просто так, к слову, для «разгона», или есть в этой, второй из вышедших в Москве, поэтической книж-

ке Левитанекого нечто такое, что заставляет задуматься именно над природой поэтического, над тем, что это такое и почему?

А правда, почему так волнуют милые, чуть смешные размышления поэта о «глупой толстой луковице, барышне провинциальной...»? Неужели мы и здесь, в этой «Страничке из дневника», станем искать пресловутый «подтекст», превращающий чтение стихов в разгадывание шарады, ребуса, забыв, что в стихах, как и вообще во всяком искусстве, важен прежде всего и главным образом текст, то, что сказано, что и создает атмосферу, магнитное поле вокруг художественного произведения, из которого читатель, зритель уже не может так просто уйти...

А между тем перед нами и правда «страничка из дневника»: «Двадцать восьмого марта, утром, я вышел в кухню. Чайник на газ поставил. Снег за окошком падал. В шкафчике на газете луковица лежала». У луковицы, из ее макушки, били фонтанчиком две зеленые струйки, снег хлестал в окно, а луковица расцветала: «Зеленая как кузнечик. Этакий Чипполино, луковый человечек».

Не знаю, как вам покажется,
а мне это странным кажется.
Загадочным это кажется.
Таинственным это кажется.
Чай погуще заваривая,
с луковкой разговариваю.
Что-то ей, видно, ведомо
такое, что мне неведомо.
Свое она что-то знает,
знает. Что снег растает.
А снег все никак не тает.
А луковка расцветает.

Любители поэзии в наши дни становятся свидетелями поразительных и поучительных поэтических взлетов, падений, побед, а часто поражений. Поэзия Левитанского входит в душу читателя скромно, спокойно, никак не навязчиво,— совершенно естественно.

Но все-таки и еще раз — что это такое и почему? Мы уже не говорим сегодня: «Смотрите, он мастер! Он колдует!» Сегодня и начинающие стихотворцы «колдуют», и все они «мастера»! Может быть, дело в интонации? «Но ведь и она («всего лишь» ремесло...— думает трижды обманутый читатель.— Научились на мою голову!») А быть может, все это — в способности видеть, чувствовать, понимать мело-

чи, «чепуху», случайности? В умении «сложить» все эти подробности в картину, кусок жизни, а потом понять ее и передать это родившееся из чувства понимание, продолжить его в читателе? Во всяком случае, «берущая» читателя интонация стихов Левитанского необычайно органична — она плод раздумчивости и артистизма, присущих его поэзии.

Утром: «Белым-бело. Белы кусты, дорога и забор. И белый бор торжествен, как собор. И Жучка у колодца вся бела, хоть накануне белой не была...» «А к ночи все становится синей: и бор, и пар, летящий из саней, и след саней, и Жучка...» Проходят месяцы, и вот другие стихи: «Смотрите, что делает дождь! А как настрожены липы!...»

Как это приходит к поэту: и этот жадный интерес к «чепухе», и умение видеть, не пропуская и не огуская ничего, и стремление понять, и понимание того, как это важно и нужно сегодня читателю? Может быть, начало было положено в юности, когда «убивали и ранили пули, что были в нас посланы», когда поэт «с землю был связан немало лет... лежал па ней. Шла война. Но не землю я видел в те годы, нет. Почва была видна. В ней под осень увязал мой сапог, с каждым новым дождем сильней...» С тех пор, как поэт «умирал на железной койке, молодой, со вспоротым животом...».

Видимо, там начало. И эта способность видеть и умение не пропускать стали душевной потребностью. А время сделало глаза зорче, интерес к подробностям жизни еще более жгучим. И вот он уже видит и понимает: «Годы людей стирают. Плачут они, стенают. А люди живут, как люди. А люди белье стирают...» Что это — банальность, пропись, глубокомыслие или это нечто отрывающее важное сегодня в человеке и в отношении к человеку и к жизни? Может быть, это ступенька, позволяющая поэту сделать следующий шаг: «Я давно знаю, что когда умирают люди и земля принимает грешные их тела, ничего не меняется в мире. Другие люди продолжают вершить свои будничные дела. Они так же завтракают. Ссорятся. Обнимаются. Идут за покупками. Целуются на мостах. В бане моются. На собраниях маются. Мир не рушится. Все на своих местах. И все-таки каждый раз я чувствую — рушится. В короткий миг особой тишины небо рушится.

Земля рушится. И только не видно этого со стороны»).

Поэт чувствует — рушится! Он понимает — рушится! И он не может об этом молчать, потому что человек, как сказал Джон Дон, — и эти слова Хемингуэй сделал эпиграфом самой значительной из своих книг, — не остров, он часть материка. И если волной смоеет в море береговой утес — меньше станет Европа... Так вечная мысль о том, что «все проходит» и «ничто не меняется», становится пониманием невозможности мириться с трагедией. Небо рушится и земля рушится, когда погибает человек. И нет и не может быть оправдания его смерти. Ничто не может ее оправдать.

Мне хотелось передать здесь хотя бы лишь

ощущение книжки Юрия Левитанского. Но конечно же это еще начало разговора, мы только-только вошли в мир поэта, спрессованный в тоненькой книжечке «Земное небо». Тем более что мир этот такой разный и непохожий. То лукавый и ироничный: «Проиграет дурак море! А зачем дураку море?»; то яркий и неистовый: «Знаете, как отдыхает вино? Сорок дней и почей погруженное в сон, то бормочет оно, то вздыхает...» Это языческий бог ворочается в дубовой люльке. «Но однажды, презрев этот сонный покой, он о днище дубовое двинет ногой и на улицу выйдет...»

Поэты приходят к нам по-разному. Истинные остаются с нами. Лучшие стихи Юрия Левитанского из таких, настоящих.

Иосиф ринберг

Весенний снег

«Первый снег» — так назвал поэт свою книгу стихов. Что он имел при этом в виду — уж не приближение ли старости, не приход ли суровых зимних дней?.. Нет, здесь действуют ассоциации, сопоставления совсем иного ряда. «Только есть стихи — как первый снег. Чистые — как белый первый снег!» — вот ключевые строчки, объясняющие читателю, что показалось Владимиру Кострову самым примечательным в образе только что выпавшего, свежего, нетронутого снега. И на соседней странице тот же мотив, те же краски: «Белый вздох, белый смех, белый снег... Словно яблоко самое лучшее на губах у меня зима!»

Вот такая это зима — весенняя и молодая. Впрочем, молодость заявляет о себе и с других страниц книги Кострова — и нерастроченной, ищущей выхода энергией, и неуверенностью, сбивчивостью ее выражения, и широтой, стремительностью поиска.

В стихотворении, открывающем сборник, поэт обещает:

Жить,
греть,
искать,
вскрывая факты...

Это слишком общие, слишком расплывчатые, неопределенные слова опять и опять повторяют дебютанты, произнося их как клятву, как обещание. И читатель нетерпеливо перелистывает страницы, торопясь узнать, подкреплена ли эта «формула вступления» реальными делами — весомыми словами, содержательными образами, передающими живое движение жизни.

Владимир Костров готов выполнять данные им обещания. Когда он говорит: «Мы — кузнецы. Мы — инженеры. Мы крепко думаем сейчас!» или: «Простые парни — ох как не просты!» — в этих решительно произнесенных словах ясно различаешь твердую волю к действенному познанию мира в его сложной многосторонности. И главное: поэту не приходится искать путей, ведущих к большим людям и событиям, — он среди них, он их со товарищ и соучастник. Мы убеждаемся в этом, когда он рассказывает о старых шпрамах и морщинах сибиряков или о девчонке из Братска. Здесь дороги и достоверность наблюдений и желание обдумать, взвесить увиденное, не ограничиться откликом, зарисовкой, а обнаружить закономерность, скрытую в реальных фактах. Тогда-то и рождаются наиболее сильные строки книги, в которых ощутимо живое биение мысли:

Нежность сильных людей —
вот богатство Сибири!

Или:

Есть термин — «рабочая сила».
Прекрасно.
Но сколько же лиц
у великого бога,
всемирного бога —
рабочего класса!

Эти слова проникнуты жаждой постижения истины во всей ее многоликости. Но часто замечаешь: Кострову словно недостает обилия жизненных впечатлений для обоснования выдвигаемых им определенных и характеристик. Вот он пишет: «Живут в моей душе четыре человека — лихой пацан, мужчина и старик» или: «Хлеб и солнце — два главных понятия», — и читатель ощущает обнаженность, «скелетность», что ли, стиха. Действительно, перед нами скорее понятия, чем образы, — так «логично», рассудочно построены эти словесные периоды.

Быть может, кто-нибудь решит, что таков характер дарования Кострова, что ему и предстоит идти по пути разума и анализа, забываясь лишь о наибольшей четкости, ясности изложения, не пытаясь добиться жаркой непосредственности, насыщенности, полноты стихового слова.

Но право же, подобное предположение было бы неосновательным. Скорее можно го-

ворить о нетерпеливости молодого поэта, торопящегося высказать пришедшую к нему мысль, прежде чем она получила плоть, стала сердцевинной образа. В книге имеются страницы, свидетельствующие о том, что Костров умеет думать поэтически, идет мир, а не только излагать свои суждения о нем. Как остро пережито им огненное бесчинство осени, или зеленое утро в Заборье, или молодое щегольство березок...

Тут-то и оказывается, что поэт, которому хорошо известна «Муза инженера», войдя в мир машин, не отвернулся от мира природы. Он знает, чем живут деревни, знает и как «сталь куют и выпрямляют души», любит город Дубно и помнит о бурлаках, здесь когда-то тянувших баржи... Это не раздвоенность, а двуединость, и конечно же она помогает Кострову в его стремлении охватить, передать облик нашего времени.

Век двадцатый —
как двадцатый ярус:
ощути —
какая высота!

Можно повторить эти слова Кострова, обращаясь к нему же самому... Да, необходимо понять и ощутить величие двадцатого столетия. Нераздельность мысли и чувства заложена в самой природе поэзии.

Д Валерий Ементьев

Верный дар

...Никогда не забуду одного эпизода, случившегося со мной в детстве. Как-то на кухне, загроможденной шкапами, столами, керосинками и корытами, читали вслух книгу. Моя мать, работавшая в воен-торговской парикмахерской, любила по вечерам читать вслух соседкам и подружкам. Я ничего не помню — что это была за книга и кто ее написал. Помню только свое удивление: из какого тайника, из какой невидимой прорези в стене увидел тот, кто это написал, как люди ходят, разговаривают между собою, о чем они думают, оставшись в одиночестве? Я не мог себе

представить, что все это, выражаясь академическим языком, плод творческой фантазии, и нередко, играя на полу нашей сырой огромной кухни, начинал нарочито громко говорить и смеяться: кто знает, может быть, он тоже подглядывает за мною?

Не в этом ли чистосердечном удивлении перед искусством, не в этой ли детской вере в реальность, доподлинность всего изображенного художником живет сама поэзия?

Только когда мы как бы начисто отрешаемся от самих себя, переносимся в новый для нас мир, только тогда сочинитель имеет полное право называться поэтом. И как бы ни был на первый взгляд скро-

мен дар этого художника, но если он об­ладает «ухватистой силою», если он способен вырвать нас из привычного кру­га привычных дел, забот, размышлений, сделать частицей собственного «я» — мы благодарны ему за это чудо перевопло­щения. В этом чуде — эстетическое обая­ние поэзии, секрет ее воздействия на других.

Мне не раз приходилось перечитывать стихотворения Юрия Мошкова. Нет, не потому, что он стал признанным поэтом, и не потому, что я испытывал глубокую внутреннюю потребность, подобную той, какую мы испытываем, вновь и вновь рас­крывая заветный томик Тютчева, Блока или Есенина.

Известность вязниковского поэта Юрия Мошкова вряд ли перешагнула пределы Владимирской области, да и не о соизме­римости его дарования с первоклассными талантами земли Русской идет здесь речь. Просто за шесть лет пребывания в Литера­турном институте его творчество не раз было предметом коллективного обсужде­ния, и мне, как руководителю семинара, должно было читать стихи студента-заоч­ника. Но я благодарен Ю. Мошкову, ху­дожнику-оформителю фабричного клуба, что он дал мне возможность понять и по­чувствовать его родные Вязники. Уж то, что в местном автобусе пахнет не одними лишь знаменитыми вязниковскими огур­цами, но и тонко-тонко льняной кострой, мокрой пряжей, как-то задело меня. Ткац­кий, фабричный городок стал отличен от десятков таких же поселков и городков, рассыпанных по срединной России. В Вяз­никах на рассвете «перекликаются гудки, как петухи, разноголосо».

Полудеревенский, полуфабричный жизнен­ный уклад Вязников, его мирный покой Ю. Мошков передает самыми простыми, «подручными» средствами — и добивается удачи.

От лирики Ю. Мошкова на меня повеяло свежестью, чистотой. Вот ему вспоминает­ся отроческая пора, когда им с соседской девчонкой было тридцать семь, вдвоем три­дцать семь, тогда-то, рассказывает поэт, мы уходили

...в лес глухой,
одетый в рыжий мох подпалин,
и, набродившись, под ольхой,

раскинув руки, засыпали...
И возле нас, касаясь плеч,
лукошко с дном берестяным
в траве лежало, словно меч
между Изольдой и Тристаном.

Мне отрадно это целомудрие, эта большая доверчивость поэта. Ведь Ю. Мошков «под­смотрел» то, что и я испытал в юности, что и для меня осталось неизгладимым, чистым воспоминанием.

Даже космос под пером Ю. Мошкова ста­новится каким-то своим, обжитым, прибли­женным к районному городку. Поэт верит и меня заставляет верить, что в ракето­плане, улетающем к иным звездным си­стемам, все будет «сниться штурману Вла­димир и сниться физику Шарья», что даже на планету Марс люди принесут влагу зем­ных рек и ручьев,

И тогда планета марсианья
В гребешках живительной волны
Голубым засветится сияньем,
А не рыжим пламенем войны!

Конечно же это — поэтическая фантазия, но как хорошо, как легко становится от этой фантазии!

Однако еще Маяковский говаривал, что «разнообразны души наши». И далеко не каждый отзовется на душевную уравне­нность, я бы даже сказал — умиро­творенность, разлитую в лирике Ю. Мош­кова.

Роману Левину, молодому поэту из Харь­кова, пришлось хватить лиха в детские годы: его родные были расстреляны гитле­ровцами у стен Брестской крепости. Сам он, одиннадцатилетний мальчуган, случай­но остался в живых. Вот почему «мечутся в памяти красные птицы, отблески тех по­жаров». Он как бы непроизвольно, инту­итивно ищет соответствия с тем пере­житым, трагическим, горьким, что было в его судьбе. Вот падают на асфальт спелые каштаны, радостно кричат ребя­тишки, —

И я, погибавший и глохший
В руинах ночных городов,
Под этой счастливой бомбежкой
Бродить бесконечно готов.

Стоит вдуматься в это разительное проти­воречие — бурная радость поэта и образ

бомбежки, счастливой, мирной, но все-таки бомбежки!

Мне и моим товарищам, бывшим фронтовикам, долгие годы была знакома эта неотвязная, мучительная память о войне. Встречая в книге «Отблески» Р. Левина подобные ассоциации, я проникаюсь невольным уважением к поэту: где-то там, в сорок памятного году, на опаленных пожарами, изрытых окопами и противотанковыми рвами пространствах России, бездомный парнишка «стал слезинкой родины горючей и частицей стойкости ее».

После встречи с неподдельной, настоящей поэзией я становлюсь богаче, человечнее, щедрее. И не только сопереживания я ищу в стихах: мне хочется узнать, выверить чутким камертоном поэта свой внутренний настрой. Мне надо, чтобы зрение мое стало острее, чтобы я различал такие краски в природе и такие оттенки в чувствах, о которых я, может быть, и не подозревал. Мне надо, обязательно надо испытать радость бытия, горечь страдания, минуты неизъяснимого волнения, прилива большой любви к родине так же остро и сильно, как их испытал молодой поэт.

Паду я на землю, на влажные комья,
И плакать готов на весеннем лугу.
Земля, ты пойми, не тужу ни о ком я,
А просто иначе сейчас не могу...

Только в юности может быть эта безоглядность, только в юности чувство, всклень переполнявшее сердце, может пролиться счастливыми, беспричинными слезами. И если я содрогнулся от этого внезапного разряда, поверил в него, значит, стихотворение достигло своей цели.

Надо сказать, что Леонид Мерзликин в первой книге «Купава» передко вызывает эту радость обогащения, он обновляет зрение, зовет к людям.

Л. Мерзликин — лирик, но в наиболее интересных его стихах обретает плоть, как бы «материализуется» характер человека, к которому он обращается в своих стихах. Я узнаю в его «Купаве» каких-то близких мне людей, слышу их незамысловатые рассказы:

Мне разлука — как в землю заживо,
Как ножом под лопатку — н-на!
Через мостики станешь хаживать
Ты со смены ночной одна.

Тревога, осязаемая в этих строчках, объясняется не только тем, что у лирического героя есть соперник — «косая челочка».

Он возьмет тебя ниже плечика,
Так сожмет, что круги в глазах,
Он проводит тебя до крылечка
И растает в пяти шагах...

Настороженная, грустноватая интонация стиха объясняется тем, что чувство поэта, любовь лирического героя слишком велика, а он знает, как трудно уберечь любовь от грубости, от случайности, от злой настойчивости.

Казалось бы, что такого в этой простой истории, что особенного в самом лирическом герое, в его сопернике, в девушке, «челочке-комсомолчке»? А вот поди ж ты, сумел молодой поэт передать не только «прозу жизни» — грубоватый, нахрапистый характер парня («в вельветке о трех замках»), но и поэзию застенчивого первого чувства.

У нас как-то мало внимания обращают на неповторимость, условно говоря, «бытового», жизненного фона, на котором развиваются судьбы героев лирического стихотворения, на верность и точность деталей. А жаль. Таких поэтов, как Б. Корнилов, Я. Смеляков, В. Луговской, Б. Ручьев, А. Прокофьев, М. Светлов, можно смело назвать поэтами высокого запева, поэтами-романтиками. Но с какой скрупулезной точностью воссоздается в их лирике неповторимая атмосфера 30-х, 40-х, 50-х годов! Мы помним молодежную вечеринку в «Любке» Я. Смелякова, ладожские свадьбы у А. Прокофьева, молоденькую учительницу в «Синей весне» В. Луговского, быт строителей-магнитогорцев в «Любаве» Б. Ручьева.

Верный дар поэта заключается в высоком, неповторимом слиянии, казалось бы, несовместимых начал жизни — ее прозы и ее поэзии. И поскольку у каждого истинного художника это слияние происходит по-своему, постольку он интересен, нов и для меня, его читателя, его друга.

Осмысливая век

Необычны бывают порой биографии книг. Первый сборник Наума Коржавина датирован 1963 годом, самые ранние стихи в нем — 1941 годом.

Два десятилетия шел поэт к первой книжке, шел дорогой своего поколения, деля с ним радости, тягчайшие испытания и беды. И не случайно сборник Коржавина называется просто и значительно — «Годы».

Действительно, перед нами проходят годы и годы, но книжка эта не летопись и не дневник. Поэта интересует не внешняя сторона событий и не «дневниковос» их отражение в интимной жизни героя, а лирико-философская сущность происходящего в мире. Вот почему стихи, расположенные вне хронологии, воспринимаются как единый, многогранный, диалектически изменчивый, противоречивый и цельный в своей противоречивости монолог.

Век открывался для меня не просто.
Он был противоречьем во плоти.
Я видел подлость, знаю благородство,
Я видел мрак — и знаю свет пути.

Эти строки — ключ ко всей книжке Коржавина не только потому, что в них выражен нравственный идеал поэта: через испытания — к свету, — но еще и потому, что в этом четверостишии философская сущность его творчества, некий итог его осмысления жизни.

Не случайно так любит он это слово — противоречье. Не случайно оно звучит во многих и многих его стихах.

Противоречья — это жизнь:
Любовь, борьба, разлуки, встречи,
Вся страсть ума, вся боль души,
Надежды все — противоречья.

Эти слова звучат тем убежденней, что Коржавин, как он сам неоднократно признается, человек необычайно цельного и гармонического мироощущения. Он проповедует эту гармоничность и в своих раздумьях об искусстве («Рафаэлю»), и в стихах «Церковь Покрова на Нерли», да и сами его стихи с точки зрения формы есть утверждение гармоничности, «пушкинской» прозрачности и цельности. И когда

Коржавин, отталкиваясь от известного стихотворения Павла Когана, пишет, что «с детства полюбил овал за то, что он такой законченный», — это вновь повторение той же темы. Однако цельность мировосприятия не заслоняет от поэта диалектику мира, — напротив, тем острее он ее видит:

Но все углы и все печали,
И всех противоречий вал
Я тем больше ощущаю,
Что с детства полюбил овал.

Бывают поэты, которые теряются перед сложностью эпохи, не могут осмыслить ее главных закономерностей и начинают эгегически сожалеть об иных — «благословенных» — временах.

Значительность лучших стихов Коржавина в том и заключается, что для него неприемлема эта слезливая позиция сожаления, растерянности перед историей. Он видит время в движении, видит людей в преодолении сложностей и препятствий, видит побеждающую силу высоких нравственных идеалов. Вот откуда рождается глубокая уверенность поэта, что никакая сентиментальная мечта о счастье «вне времени» не может заменить того земного, сиюминутного счастья, которым живем мы в нашу эпоху и которое состоит не в искусственно создаваемых наслаждениях, не в этаким пенкоснимательстве, а в преодолении тяжести реальных земных противоречий.

Нету легких времен.
И в людскую
врезается память
Только тот,
кто пронес
эту тяжесть
на смертных плечах.

И снова возникает этот мотив в раздумьях поэта о смысле жизни, любви, о простом человеческом счастье:

Не изойти любовью, а любить.
Не наслаждаться жизнью — просто жить.
Я не люблю безмерные слова,
Все выдумки не стоят естества:
Любить нельзя сильнее, чем любить,
А больше жизни — и не может быть.

Цени земное человеческое счастье, страстно восставая против жестокостей века: против войны («Парад ветеранов в Кельне»), против концлагерей («Дети в Освеп-

циме), против всего того, что мешает людям делать жизнь гармоничной и разумной,— Наум Коржавин постоянно живет в своих стихах ощущением необратимости завоеваний народа на пути к будущему. Очень важно в этом смысле программное «Вступление» к сборнику, где утверждает величие свершений нашего народа,

нашей страны. И как бы ни стреляла в нас «косность мира», поэт убежден:

...то, что мы с собой несем,
Уже от нас неотделимо.

В этом утверждении и звучит тот мощный аккорд, который гармонически завершает монолог Наума Коржавина о времени.

Р Николай Одичев

Верность поэта

Диву даешься иной раз, читая новую книгу стихов: до чего же хочется автору блеснуть географической широтой своей Музы, избежать упрека в местничестве!.. Стихи о море, увиденном с узкой пляжной полосы, циклы о загранице (у кого их нет!), песни о целинных землях, через которые командировочный поэт ненароком промчался в курьерском поезде... Неплохие подчас стихи, эрудированный автор, но сборник закрываешь с чувством неудовлетворенности. За мнимой тематической широтой — разбросанность, вместо настоящего чувства — поспешные объяснения в любви ко всему, что схватил рассеянный взгляд.

О плохих стихах иногда говорят: «Областные стихи!» Но ведь никакой определенной областью или краем и не пахнет от безадресных сочинений! А как бы хотелось почитать хорошие областные стихи, где поэт открыл бы для нас свою поэтическую сторонку, выпевал бы дорогой ему уголок земли, подобно тому как это сделал Сергей Есенин с краем «березового ситца» — Рязанщиной.

Николай Агеев — поэт московский. Последняя книга его — «Родниковые звезды» — выпущена в столице. Однако мне хотелось бы назвать эту книгу уральской — так пахуч и крепок здесь «сосновый» настой поэтической атмосферы! Какой горячий румянец полыхает с обветренного студеными ветрами образа этого самого Урала, нарисованного с сыновней преданностью поэтом! Урал встает на страницах сборника то глыбастым богатырем-умельцем, то в образе лесной красавицы...

Она в скалу вросла корнями.

Ее
В минувшую грозу
Хотели молнии клинками
Срубить под корень,
Как лозу.

Не тут-то было!
Где те силы,
Чтобы ее срубить могли?
Стоит сосна
Среди России,
На стыке двух частей Земли.

Основная тема произведений сборника — сегодняшние заботы по преобразению древнего края, размашистая поступь людей, умножающих славу родной земли, гимн работающим рукам и песенным сердцам тружеников. И в публицистическом стихотворении «Рабочие руки» («вот они, широкие, в мозолях, рыжих, как сосновая кора»), и в лирической миниатюре «Москвичке» взволнованно и свежо воспеваются красота края, в котором, словно в капле росы, отражается огромный мир.

К лучшим стихотворениям книги, на наш взгляд, можно отнести «Балладу о подковах», «Чусовая», «Иртыш», «В сибирской дальней стороне» и др. В таких произведениях автор отдает дань уважения революционным и трудовым традициям земляков, воспекает целостность природы человека — покорителя стихии, верность его земле отцов. Но всякий раз автор замечает перемены:

Вороний брод —
старинное название,
А люди здесь по-новому живут.

Об этом новом хорошо сказано в стихотворении, посвященном рождению горняцкого городка Ангрена:

И мы, юнцы,
 посланцы комсомола,
На угольных взъерошенных пластах,
На фронтovou вахту встав,
Рукою экскаватора тяжелой
Ссыпали с гулким грохотом в вагоны
Чумазый уголь, отнятый у гор.
И с ветром первый затевали спор
Деревья, вставшие рядком зеленым.
Так было это в сорок третьем...
А нынче вместо глинобитных стен
Стоит шахтерский городок Ангрэн,
И я его на карте мира встретил..

Из новых поэм хочется отметить «Степную
быль». В ней автор развенчивает лжегероя
Вадима Куликова, приехавшего вместе со
своими однокашниками студентами в це-
линный край. В поэме философски осмыс-
лены истоки малодушия и трусости, дается
художническая и гражданская оценка пу-
стым фразам и жестам тех молодых людей,
которые в душе считают себя героями, а
на поверку жизнью оказываются хлюпи-
ками.

Есть в книге и «отходы производства». Ду-
мается, что ничего нового не найдет чита-

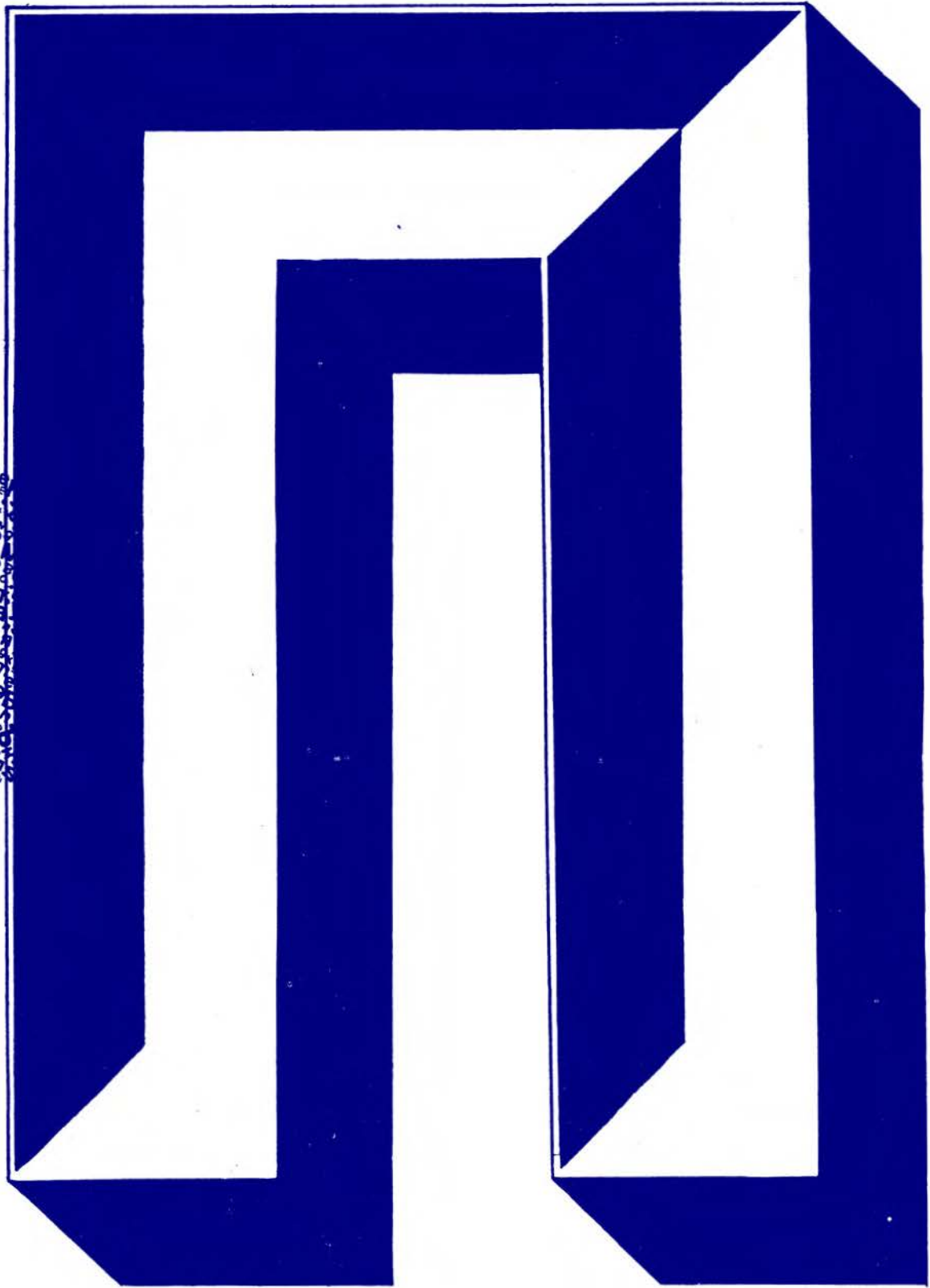
тель в стихотворениях «Рождение Армии»,
«Идет весна», «Шагает страда по Рос-
сии...», «Голуби». В последнем из них —
неточное слово, искажающее смысл фразы:
«Сыплет дочка им пшениные зерна».
Если зерна, то они должны быть прося-
ными. Хорошее стихотворение «Хлеб» ис-
порчено словесной закруткой:

Золотые кованые зерна
Ворохами гордости растут.

Не может Н. Агеев похвалиться такой
концовкой стихотворения:

Шагает страда по России,
По ранней июльской росе,
С достоинством собственной силы,
В своей полнокровной красе!

Вероятно, потому такие строки выпирают
из добротного, напевного текста произве-
дений Н. Агеева, что их очень немного в
книге. Я советовал бы автору быть более
решительным в удалении засохших веточ-
ек на цветущих деревьях.



амять

З. Невельский
Д. Одинцов
П. Асеев
А. Рохович
М. Алигер
Г. Николаева
П. Букин
А. Ойслендер
В. Лобода
В. Субботин
В. Азаров
М. Шехтер
П. Васильев
Ю. Саенко
Б. Пастернак
Е. Ширман
Л. Наппельбаум
С. Фонская
И. Бунин
И. Смирнов
Т. Мазур

Бессмертная песня

Почти семьдесят лет назад родилась революционная песня «Смело, товарищи, в ногу!...». С этой песней шли на баррикады рабочие в 1905 году. По всем фронтам гражданской войны прогремела она. Ее пели на праздничных демонстрациях и рабочих собраниях. Но мало кто знает, как была написана эта песня и кто ее автор.

Слова и музыка песни «Смело, товарищи, в ногу!...» принадлежат Леониду Петровичу Радину.

Л. П. Радин родился сто четыре года назад в Раненбурге, уездном городке Рязанской губернии. Когда мальчику исполнилось десять лет, родители привезли его в Москву и определили в славившуюся тогда частную гимназию Л. И. Поливанова. Здесь научился он любить и понимать музыку, литературу.

Блестяще окончив гимназию в 1879 году, Леонид Радин девятнадцатилетним юношей покидает Москву и становится сельским учителем. Лишь через пять лет, уже обогащенный жизненным опытом, он поступает на физико-математический факультет Петербургского университета, где слушает лекции великого русского химика Д. И. Менделеева.

Петербургские студенческие годы были решающими для формирования революционных убеждений Л. Радина. Преодолев ранние увлечения народничеством, он становится страстным поборником марксизма и навсегда связывает свою судьбу с освободительным движением пролетариата.

В 1892 году Радин возвращается в Москву. Официально он — «господин учитель», кандидат естественных наук, готовящий молодых людей к университетским экзаменам. Тайно же — автор «преступных прокламаций», крупный деятель революционного подполья, один из руководителей «Рабочего союза».

Однако охранка начинает присматриваться к деятельности молодого учителя. В организации революционеров удаётся пролезть провокатору. В ночь на 11 ноября 1896 года большая группа деятелей «Рабочего союза» была арестована. Леонид Радин был

признан «вредным для общественного порядка и спокойствия» и брошен в одиночную камеру Таганской тюрьмы.

Здесь-то, в одиночке, и родилась песня «Смело, товарищи, в ногу!...». В душе узника звучали популярные у народников революционные песни, и среди них —

Смело, друзья, не теряйте
Бодрость в неравном бою.
Родину-мать вы спасайте,
Честь и свободу свою...

Но эта песня была слишком грустной. Нет, нет, другие слова, совсем другие напевы нужны теперь рабочим. Уверенность, призыв! — думалось Радину. — Вот так: «Смело, товарищи!...» Именно — «товарищи».

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнув в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе...

Он писал на грифельной доске. Писал и стирал. Отделанные строфы хранила память.

В феврале 1898 года Радин был переведен в Бутырскую пересыльную тюрьму. А 4 марта из ворот ее вышла партия «политических», направляемых в ссылку. Выйдя из тюремных ворот, арестанты запели:

Смело, товарищи, в ногу!..

Жандармы были растеряны. Этапное шествие превратилось в политическую демонстрацию.

В толпе ссыльных шел и автор песни Леонид Радин.

Ссылку Радину пришлось отбывать в Яранске, Вятской губернии. Тюрьма подточила его здоровье, он был тяжело болен, но и здесь продолжал оставаться в строю революционных борцов. Он пишет статью против объективизма в искусстве и критике, готовит материалы для серии литературно-критических статей в защиту творчества молодого Горького. Вместе с другими политическими ссыльными горячо поддерживает ленинский протест российских социал-демократов против манифеста «экономистов».

Из ссылки же Радин пишет товарищам стихотворное завещание: «Смелей, друзья, идем вперед...» Пророчески прозвучала в

этом завещании строфа, обращенная к будущему России:

...И зреет молодая рать
В немой тиши зловещей ночи.
Она созреет... И тогда,
Страхнув, как сон, свои оковы,
Под Красным знаменем труда
Проснется Русь для жизни новой.

4 февраля 1900 года закончился срок ссылки. С помощью друзей Радин уезжает в Крым на лечение. И там, в Ялте, 16 марта

1900 года оборвалась жизнь певца рабочего класса, одного из зачинателей русской пролетарской поэзии.

Л. П. Радин был не только революционером-поэтом, но и талантливым ученым, пропагандистом «матери наук» — химии. Еще в 1895 году в России вышла в свет популярная книга Якова Пасынкова — «Простое слово о мудреной науке. Начатки химии». Имя автора — Яков Пасынков — это псевдоним Леонида Петровича Радина.

О Дмитрий ДИНЦОВ

Начало

Пятьдесят лет назад, в июне 1914 года, в петербургском издательстве «Прибой» вышел в свет «Первый сборник пролетарских писателей».

Мысль об издании этого сборника возникла на собрании кружка рабочих-поэтов, группировавшихся вокруг газеты «Правда». В этом кружке состоял и я. Опыта в издательском деле у большинства членов кружка не было, и мы решили обратиться в редакцию «Пролетарской правды» (так называлась в то время «Правда») к К. С. Еремееву. Он приветливо встретил нас, внимательно выслушал и спросил:

— Сколько участников намечается в сборнике? Каков будет объем сборника?

Надо сказать, что у нас к этому моменту была одна только идея — создать сборник, а сбором материалов мы еще не занимались.

Подумав немного, Константин Степанович сказал:

— Начнем с того, что дадим объявление в газете с обращением к пролетарским поэтам, предложим им направлять свои произведения в редакцию «Пролетарской правды». А там посмотрим, что получится.

Через несколько дней в «Пролетарской правде» № 9 (27) от 12 января 1914 года появилось первое объявление о готовящемся сборнике пролетарских поэтов.

На это объявление откликнулись 94 автора, из них 74 — рабочие.

К. С. Еремеев вместе с депутатом IV Государственной думы Г. И. Петровским связались с А. М. Горьким и предложи-

ли ему взять на себя редактирование сборника.

Через месяц Горький пожелал встретиться с представителями кружка поэтов-правдивов. Организовать встречу было поручено А. Н. Тихонову. Он в то время заведовал литературным отделом «Пути правды» (так называлась «Правда» после 21 января 1914 года), сменив на этой должности К. С. Еремеева.

Встреча состоялась в субботу вечером 22 февраля с/ст. 1914 года, произошла она на Кронверкской улице, в доме № 23. Алексей Максимович появился с некоторым запозданием, когда мы уже собрались. Он принял нас с большой сердечностью и добротой. Интересная беседа затянулась за полночь.

Редактировать сборник было поручено А. Н. Тихонову, но живейшее участие в этой работе принимал и сам А. М. Горький.

Через шесть месяцев первый сборник пролетарских писателей вышел в свет и был тепло встречен рабочим читателем. Весь тираж его был раскуплен по подписке.

В предисловии к сборнику Горький писал:

«Кто знает будущее — возможно, об этой маленькой книжке со временем упомянут, как об одном из первых шагов русского пролетариата к созданию своей художественной литературы.

«Фантазия! — недоверчиво скажут мне, — такой литературы никогда и нигде не было!»

Многого не было, что есть теперь, — ведь раньше не было и рабочего класса в тех формах, с тем духовным содержанием, ка-

ков он в наши дни. Если б человек не верил в силы своей воли и разума, — он не летал бы в воздухе птиц, как летает ныне».

В заключение Горький писал:
«Один из поэтов, участников в сборнике, восклицает:

«Вперед, к культуре мировой!»

Добрый путь, товарищи!

Да здравствует разум и воля, создавшие мировую культуру!»

Строка, приведенная здесь Горьким, была взята им из моего стихотворения.

Тетрадка моих стихов, переданная редакцией «Пролетарской правды» Горькому, была у него в руках, когда он беседовал с нами на Кронверкской...

Алексей Максимович уделил особое внимание стихотворению «Вперед». Мало того, что он отметил его в своем предисловии, — он сам вписал в мои стихи целую строфу, используя образы оригинала. Однако предупредил, что он не специалист в поэзии, поэтому просил посмотреть, «как я найду его исправление». Ознакомившись с правкой, я поблагодарил Горького и полностью сохранил его редакцию стихотворения. Таким образом, Алексей Максимович стал соавтором этой вещи.

Вот это стихотворение. Пятая строфа его принадлежит А. М. Горькому.

ВПЕРЕД

Давно синее и сверкает
Бездонной ночи глубина.
Мою каморку осеняет
Мой друг полночный, тишина.

Шуршит последняя страница.
В груди горит огонь живой...
Пусть ночь сомкнет мои ресницы,
Я не поникну головой.

Наутро с первыми лучами,
Стряхнув с души крылатой сон,
Я встречу день с его трудами,
Машинный гул, металла звон.

Вдоль улиц сонных и угрюмых
К труду привычно поспешу
И ночи огненные думы
В заботах дня не угашу.

В пыли, во тьме и горьком дыме
Я сохраню мои огни,
Всю жизнь я спаян буду с ними,
И день и ночь со мной они!

И так, навстречу светлой дали,
Неся в душе огонь живой,
Под рев гудка и грохот стали!
Вперед — к культуре мировой!

1912

А Николай сеев

Поэзия Николая Асеева — темпераментный, откровенный разговор с читателем, длившийся более полувека.

Николая Асеева не стало, а разговор этот продолжается и никогда не умолкнет, потому что людям нового мира всегда будут дороги открытость души поэта, незатаенность его дум.

Он поверял стиху все, чем жил, на что бурно и горячо отзывалась его впечатлительная натура, его быстрая, колющая мысль. Солгать в стихах Асеев считал величайшим преступлением. Оттого и негодовал он, бывало, остро ощущая малейшую фальшь в чьих-нибудь с виду добропорядочных рифмованиях. «От ярости онемею, но в ярости не солгу!» — писал он в сорок третьем, военном году, по-новому повторяя признание, сделанное когда-то в разговоре с Маяковским о своем неумении лгать в строчках. Быть может, поэтому-то он и написал в том же году публикуемое здесь стихотворение «Где Маяковский?» — написал, тоскуя о своем содруге, зовя его встать рядом в борьбе против фашистских захватчиков, снова и снова ратуя за чистоту поэтического оружия.

А. Л. Рохович

Где Маяковский?

Где Маяковский?
 Куда он делся?
Люди тревожатся:
 где пропал?
Нет
 поэтических тайн
 владельца,
смолк
 огневой
 речевой запал.
Как бы сегодня
 он был нам нужен!
Как бы
 в атаку
 позвал идти!
Не затаил бы
 словес-жемчужин
в створчатой раковине
 взаперти.
Он не позволил бы
 в затрапезной,
рваной одежде
 гулять стиху,
не допустил бы —
 тупой и железной
шпильке —
 равняться к стальному штыку.
Как без него мы
 осиротели:
старый-то друг —
 лучше новых двух!

А Маргарита
лигер

Памяти Галины Николаевой

Война так разметала и перепутала судьбы и связи человеческие, что письма в те годы отправлялись подчас по адресам, которые в наши дни выглядят почти невероятно. То письмо, что вспоминается мне сейчас, было прислано в Москву, в редакцию «Литературной газеты» на имя ленинградского поэта Николая Тихонова, с припиской: «если он жив».

«А я не умер, я жив. Меня не так легко оказалось свалить с ног. Ни трехлетняя блокада Ленинграда, где я был все время, ни голод, ни снаряды, ни бомбы, ни пули, видите, не убили меня». Так отвечал на эту приписку Николай Тихонов, ставший к

Как бы он
 в нашей
 большой артели
в годы беды
 подымал бы дух!
Разве вот с этакой
 сверхвойницей
справишься, что ли,
 строкою нищей?
Он совладал бы
 и — с растакой
в вечность трассирующей
 строкой!
Он поднял бы
 неподкупный голос,
к цели б лететь
 приказал словам,—
чтобы
 Германии тьма
 расколелась
начисто,
 надвое,
 напополам.
Нет Маяковского.
 Где он делся?
Встань,
 подымись же
 во весь свой рост,
рядом с фигурой
 бойца-гвардейца,
памятью
 выросшею
 до звезд.

1943

тому времени москвичом,— письмо пришло в декабре 1944 года. Он получил письмо, отправленное военврачом Г. Волянской, письмо, в котором лежала ученическая тетрадка, заполненная стихами. Под стихами стояла подпись: «Галина Николаева». Получил и ответил обстоятельно, горячо похвалил стихи и в этом ответе сообщил Галине Волянской-Николаевой о том, что читал уже стихи многим друзьям и в том числе редактору журнала «Знамя» Всеволоду Вишневскому, и что всем стихи очень нравятся, и что на днях отобранные, лучшие стихи он будет читать на редколлегии журнала «Знамя», где они непременно будут напечатаны. Все это было в первые дни января 1945 года, и в самый короткий срок стихи Галины Николаевой ста-

ли широко известны в московских литературных кругах особенно тем, кто был так или иначе связан с редакцией «Знамени». Их читали вслух всем, кто ни приходил в редакцию, а тому, кто почему-либо не приходил, заместитель редактора Анатолий Тарасенков, человек страстно влюбленный в поэзию, читал их по телефону.

В февральской книжке журнала было опубликовано девятнадцать стихотворений молодого поэта. В Нальчик, где в то время жила Галина, полетело множество писем, множество добрых слов читателей. В ответ приходили новые стихи. Одиннадцать из них появились в апрельской книжке журнала. «Знамя» приглашало своего нового автора в Москву, для личного знакомства. «Посмотрите на Москву, но не погружайтесь в «литературный мир». Простая жизнь, право, лучше. Я знаю это по опыту. Дышишь на фронте, в поездках. Вот и сейчас уезжаю на Берлин», — писал ей Всеволод Вишневский.

В мае 1945 года, за несколько дней до победы, Галя Николаева появилась в Москве. В сущности, ее появление могло носить почти триумфальный характер, для этого были все возможности, но она не воспользовалась ни одной из них, потому что была глубоко и серьезно встревожена своей будущей судьбой, переполнена чувством ответственности, которое накладывал на нее первый успех. Сумеет ли она выдержать и утвердить его? Хватит ли у нее для этого сил, таланта, знания жизни? Вот как вспоминает она о том времени:

«Чем больше была тяга к новому для меня миру литературы, тем больше было и сопротивления. Знакомый мне маленький мирок был ограничен, но мил и понятен. Свое маленькое дело я делала на совесть». Это писалось недавно, но речь в этих строках идет о раздумьях, охвативших ее весной 1945 года. За плечами было уже несколько лет войны. «Мой маленький мирок...» «Свое маленькое дело...» И только совсем недавно, уже когда той, о ком я пишу, нет на свете, мне в руки попал один документ, один рассказ об этом «маленьком мирке», об этом «маленьком деле». Приведу полностью это письмо, оно стоит того.

«16. X. 1942 г.

ГОРЬКОВСКАЯ КОММУНА. Орган Горьковского Обкома и Горкома ВКП(б), Облисполкома и Горсовета

Уважаемая редакция!

Я, инвалид Отечественной войны, младший лейтенант Сухотин Алексей Иванович, проездом через Горький, пользуясь случаем поблагодарить горьковского врача Волянскую и сестру Лену Прыгунову, которые работали на санпароходе «Композитор Бородин». Как я слышал, пароход этот погиб, а команда, которая спаслась, поехала в Горький. Если Волянская и Прыгунова живы, то посылаю им красноармейское спасибо, а если нет, то их родителям. В ту ночь, как над санитарным пароходом кружились гитлеровские стервятники и бросали бомбы и строчили из пулемета, перед лицом смертельной опасности т. Волянская дала свой спасательный пояс раненым, хотя сама плавать не может. И когда все сошли на берег и попрятались в кусты, нас, четверых тяжело раненных, нести было нельзя и мы остались на пароходе, но т. Волянская и Прыгунова Лена нас бросить отказались, хотя мы их и отсылали. Они всю ночь были с нами на пароходе, в опасности успокаивали нас и дали лекарство, от которого боли прошли и ударило нас в дремоту. В ту ночь мы, четверо тяжело раненных, лежали на пароходе, с которого все ушли. По нас стреляли и бросали бомбы, а врач и сестра добровольно остались с нами. Я никогда не забуду и на трудовом фронте буду так же биться, как бился под Сталинградом. А т. Волянской и Прыгуновой прошу передать красноармейское спасибо!

Младший лейтенант А. Сухотин»

Вот это и называлось «делать на совесть свое маленькое дело». И та ночь на пароходе, та ночь 1942 года, даже не вспоминалась врачу Волянской, когда она, Галина Николаева, автор двух первых больших стихотворных подборок, задумывалась над своим литературным будущим. Она вспомнит эту ночь очень скоро, вспомнит очень ярко и точно, в мельчайших деталях и оттенках, вспомнит высшей памятью, сверхпамятью художника. Вспомнит и превратит в замечательный рассказ.

Только что ярко и заметно выступив как

поэт, когда, казалось бы, ей самое время было утвердиться и поудобней располагаться на этом уже бесспорно захваченном плацдарме, Галина Николаева, нимало не тревожась об этом, метнулась на другую высоту — написала поразительной силы и мастерства рассказ «Гибель командарма». Рассказ был прислан откуда-то, автора не было в Москве уже давно, и товарищи по редакции все того же «Знамени» даже и вспомнить не могут названия места, откуда они его получили. Рассказ редактировался и сдавался в печать без автора. Где же, однако, был автор? Скоро это стало известно.

Галина Николаева оказалась там, где давно не была, в колхозе Горьковской области. Ее потянуло в эти края профессиональное чутье писателя, рвущегося туда, где сейчас самое главное, самое трудное, самое неразведанное. Она привезла оттуда очерки «Колхоз «Трактор», в которых показала себя серьезным и глубоким журналистом и публицистом, а материал, поднятый ею, был столь горячим и волнующим, что «Правда» перепечатала эти очерки из журнала. А встреча писателя с деревней трудных послевоенных лет была столь значительной, что не могла быть исчерпана несколькими газетными очерками и подсказала ей замысел большого романа, за который она тотчас же и принялась.

С первых же шагов своих она была глубоко профессиональна — истинный писатель, с великолепной хваткой, с твердой рукой, умеющей ухватить за узду самого нравного коня. Ее органический талант был надежно защищен от всяких случайностей железным умением работать, работать всегда, вопреки всему и несмотря ни на что, острым интересом к жизни, умением угадать и почувствовать самое важное, ухватить и вытащить на поверхность и показать его людям. И еще в ней была

завидная уверенность в себе — качество, которое убедительно прошу ни на минуту не смешивать с самоуверенностью, ибо это явления глубоко разные. Я толкую о том дорогом качестве, которое дает писателю уверенность в том, что то, о чем он хочет и может говорить, будет интересно людям. Все эти качества и черты бесценны, — без них талант, свойство хрупкое и неустойчивое, может подчас и не состояться, утечь сквозь пальцы и уйти в песок, чему мы — уввы! — нередко бываем свидетелями.

Она смолоду была тяжело больным человеком, ее здоровье было подорвано войной, но и больная она работала всегда, и всегда в работе у нее было несколько вещей, иногда в разных жанрах, и всегда она была переполнена замыслами и намерениями и уже готовилась к новой работе, уже собирала какой-то новый материал, встречалась с людьми новой профессии — своими будущими героями, иногда попросту штудировала учебники, чтобы знать дело, о котором она собиралась писать. Она стала широко известным и много читаемым беллетристом. Но при этом всегда она писала стихи, всегда в ней звучали стихотворные ритмы, в чем-то, очевидно, помогая ей осмысливать жизнь или попросту жить. Очевидно, это было душевной потребностью, и тем это дороже, и хотя она давно не печатала стихов, и, надо полагать, не случайно, мы хотим, чтобы голос ее прозвучал в День поэзии. И я рада была встретиться с ней снова на этих страницах, потому что в последние годы мы встречались совсем редко, можно даже сказать — совсем не встречались. Она много работала и много болела, у меня хватало своего: работы, забот, больных... И потом это вечное чувство живых: все успеется... когда-нибудь потом... будет время, еще и увидимся... Сколь оно обманчиво, однако, это чувство!

Н Галина Николаева

Из фронтовой тетради

Порой твердят, тоскуя о потере:
«Как мало жил! Как рано он исчез!»
Не ситец жизнь. Ее длиной не меряют,
Ее берут, как золото, на вес.

Для вас, закрывших Родину телами,
Смотревших в смерть, не опуская глаз,
Правдивыми, горячими словами
Учусь писать. Хочу писать для вас.

В час отступленья, боли и печали
Ряды редели, падали друзья.
Погибшие мне голос завещали,
Чтоб с вами им заговорила я.

Страх

Что страшнее всего? Не атака.
Сердце гулко, как в колокол, бьет.
Ты, дождавшись условного знака,
Вырываешься с криком: «Вперед!»
И несет тебя вихрь наступленья,
Не считаешь ни пуль, ни минут.
И все страхи твои, все сомненья
На версту от тебя отстают.

Что страшнее всего? Не бомбежка.
Окопавшись, в землю уйдешь,
Иль к траве прижимаешься влѣжку,
Или к щели упрямо ползешь,
Или метишь в надежде упорной
Из винтовки стервятника сбить.
Страх, как ворон, зловеющий и черный,
Сердце клювом не станет долбить.

Может быть, отступленье страшнее?
Нет. Когда отступаешь, то вдруг
Так мила тебе станет траншея
И снарядами вскопанный луг.
Каждый куст, уходя, примечаешь.
Если ты от рожденья не трус,
Отступая, одно повторяешь:
«Я вернусь, я вернусь, я вернусь».

Что страшнее всего? Ожиданье,
Если друг твой, любимый твой друг
Не придет с боевого задания,—
Вот тогда ты узнаешь испуг.
Если друг твой исчезнет бесследно,
Словно дым, словно пар, словно прах,
Вот тогда испытаешь вполне ты
Изнурительный, тягостный страх.

Будешь жить в напряженьи тревожном,
Испытаешь бессилье и дрожь,
На атаку пойдешь, на бомбежку
И собой не колебясь рискнешь,
И по самому краю могилы
Будешь рад ты пройти не дыша,
Лишь бы голос знакомый и милый
Прозвучал за стеной блиндажа.

Из последних стихов

Когда стихи становятся стихами?
Когда они прострелены, как знамя.
Когда в них ритмы ленинского шага.
Когда в них смелость, правда и отвага.
Когда звучит в них:

«Третья готовность!»

Когда сквозь них
гудит и рвется «завтра».
Когда для строф и строчек
поголовно
Нужна отвага первых космонавтов.

Разговор с читателем

Ты, незнакомый читатель мой,
Я с тобой очень доверчива,
Сердце открыв, не умничаю,
Фразами не сорю.

Я ведь тоже «со всячинкой»,
Порой крутенько поперчена,
Но это не самое важное.

Правильно я говорю?

Что же самое важное?

Цель поставить высокую,
Волю иметь железную,
Верить — все поборю!

Быть в сраженьи отважною,
К чести быть очень строгою.
Это самое важное.

Правильно я говорю?

Жить с аппетитом. Охотиться
К радостному и грустному.
Плохо тому, кто духом слаб,
Скучен, вял и угрюм.

Если плакать приходится,
Плакать уметь «по-вкусному».
Сердце бедой закаляется.

Правильно я говорю?

В жизни мелочей тысячи.
В них ошибаться случается.
Сбросить со счета и высмеять —
Так я на них смотрю.

Только скупые и нищие
В жизни грошами считаются.
Нам не к лицу копейничать.

Правильно я говорю?

Наша дружба получится,
Наша беседа спорится,
Если за дело выступишь —
За слово не корю!

Можно со мной измучиться.
Можно со мной поссориться.
Только нельзя соскучиться.

Правильно я говорю?

Полярный корреспондент

Наверно, еще не скоро я свыкнусь с мыслью, что Александра Ойслендера нет в живых. Двадцать лет прошло, как увидел его я впервые. Двадцать... А будто вчера.

...Далекий и суровый край. Голые, продуваемые всеми четырьмя ветрами полуострова Средний и Рыбачий, а вернее — острова. Ведь в первые же дни войны они были отрезаны фашистскими войсками от материка. С трех сторон — море, с четвертой — враг. Сообщение с Большой землей только по воде и по воздуху.

Правый фланг Великой Отечественной войны. Здесь стояли насмерть североморцы. Бой за каждый камень, за каждый метр родной земли. И так все тысяча восемь дней и ночей.

В один из этих огневых дней и ввалился, именно ввалился, в тесную и вечно сырую редакционную, занесенную снегом землянку офицер в морской, еще не очень обтертой шинели. Она хоть и большого размера, но была до колен своему хозяину — рослому, стройному младшему офицеру с белым крабом на фуражке.

Все мы в редакции обрадовались новому пополнению — журналистов в нашем гарнизоне явно не хватало. А тут еще поэт, член Союза писателей! Это ли не находка на позабытом богом клочке вечно мерзлой земли! К тому же заочно, по стихам, печатавшимся во флотской газете, мы уже были знакомы с Александром Ойслендером. А песню на его слова «Два товарища» часто напевали друг другу:

Жили два товарища на свете —
Веселее не было дружков.
Оба молодые, оба Пети,
Оба из отряда моряков.

Можно сказать, эти «оба Пети» были членами нашего экипажа до самого конца войны.

Каждый день в ту пору приносил известия о славных подвигах североморцев в море, на суше и в небе. И они не могли не вдохновлять поэта-патриота Александра Ойслендера. Так появились его хорошие стихи «Мы из Полярного», «Пахари моря» и «Малютка».

И если тяжело придется,
Когда в тиски зажмет беда,
Железо, может быть, согнется,
Но наши люди —
Никогда!

Такими строками о мужестве советского человека заканчивается «Малютка» — стихотворение о североморских подводниках.

На Рыбачьем Александр Ойслендер как-то быстро «акклиматизировался» и стал «своим». Мы взвалили на его плечи отдел культуры и быта газеты «Североморец», а также только что родившийся раешник «Слово ефрейтора Калистрата — русского бывалого солдата». Надо сказать, что Калистрат быстро стал популярным на фронте, и заслуга в этом немалая Александра Ойслендера. Так бывалый ефрейтор провёл с нами всю войну и кончил ее в чине старшины и с орденом Красной Звезды на груди.

Александр Ойслендер активно откликался на все боевые события, которыми была полна нелегкая жизнь морских пехотинцев Заполярья. Уже одни названия стихов говорят сами за себя: «Полуостров Рыбачий», «Сапер», «Подносчик боезапаса», «Перед наступлением», «Высадка десанта», «Дорога на Петсамо» и др.

Небольшой коллектив нашей самой правофланговой редакции был дружным, хоть мы иногда между собой горячо спорили об искусстве, литературе и о разных житейских делах. Александр Ойслендер всегда занимал твердые позиции человека, убежденного в правоте нашего дела, позиции коммуниста, хоть и без партийного билета в кармане. И это не только на словах, но и на деле. Он честно выполнял свой воинский долг. И, пожалуй, только одно обстоятельство мешало ему в жизни — это чрезмерная, какая-то даже наивная застенчивость и некоторая житейская неустроенность. Он был городским жителем и ко многому, что связано с жизнью в трудных «полевых» условиях, не привык.

Каждый номер нашей газеты мы поочередно носили на визу в политотдел, который находился от нас в десяти километрах. Пешком ходить далековато, а газета выходила ежедневно. Поэтому начальство вы-

делило нам лошадь — маленькую рыжую сибирячку. Летом она была под седлом, а зимой ее запрягали в санки. Почти все мы были в прошлом крестьянскими парнями, и лошадь для нас не была диковинкой. А вот для Александра Ойслендера она была сущим наказанием. Как, с какого боку к ней подойти — он и понятия не имел. А уж о том, чтобы оседлать и запрячь ее, и говорить не приходилось. Немалых трудов нам стоило научить его использовать на благо печатного слова вверенную нам одну-единственную тягловую силу. Кое-как наловчился он забираться в седло: было в нем что-то от Дон-Кихота — удобные стремяна он игнорировал, и его длинные ноги болтались, как тяжелые плети.

Но несмотря на многочисленные житейские трудности и суровые условия Заполярья, Александр Ойслендер мужественно свыкся со всем этим и нес нелегкую службу, как и все его друзья-товарищи, с полной нагрузкой. Вместе с нами он освобождал от гитлеровцев Северную Финляндию и в Северной Норвегии окончил военную пору своей жизни.

Отгремели пушки, солдаты сняли с плеч автоматы, их место в строю заняли молодые. Вот к ним-то, молодым защитникам нашей Родины, сменившим своих героев-

отцов, и приезжал не раз поэт с поседевшими висками, бывалый моряк Александр Ойслендер. Дружба с флотом и его боевым народом продолжалась. Она вдохновляла поэта на новые стихи, и мы с удовольствием читали его последние при жизни поэтические сборники «Всегда на вахте» и «Корабельная сторона», полные гуманизма и веры в торжество нашего дела. Он страстно любил Родину, он с честью служил народу. Он отдал ему все — труд, и жизнь, и звонкий талант.

В одном из своих стихотворений Александр Ойслендер говорит:

Не знаю я — хватит ли срока
Все сделать, увидеть, найти.
Срывай меня ночью, тревога.
Застань меня, утро, в пути.

...И вот его уже нет в живых. А я не могу, не хочу верить и листаю страницы его поэтических книжек, с которых поэт встает как живой, «завсегдатай переднего края... Ваш полярный корреспондент». И заявляю его же словами:

Завтра все вы прочтете в газете.
А сейчас...
Он устал и продрог.
Не будите.
Пусть спит на планшете...
Ночь, метель заметает порог!

О Александр Ойслендер

Возвращение

Всю жизнь ты отдала мне в руки,
Взамен не требую себе —
Ни утешения в разлуке,
Ни лучшей участи в борьбе.

Нет, не мечтала ты о славе,
Что ходит где-то стороной,
Когда твердила мне о праве
Делить все тяготы со мной,—

Не потому, что пред судьбою
Себя на жертву обрекла,
А потому, что стать другою
При всем желаньи не могла.

И пусть ты станешь некрасивой,
Как пожелтевшая листва,

Пусть на ветру склонись ивой
К ручью, звенящему едва,—

Я все пойму душою зрелой...
И в ослепительном году,
Дыша черемухой белой,
Вновь распустившейся в саду,—

Не предсказав числа, быть может,
Не написав тебе с пути,
Не позвонив... ведь не поможет,
Коль на работе до шести,—

Оставив сумку на платформе,
Забыв дыханье перевести,
Давно не бритый,
В старой форме —
Вернусь к тебе.
Такой, как есть!

В тумане

Там, вверху,
Как на поле сраженья,
Тяжело
Клубятся облака.
Там, вверху,
Идут передвиженья,
Словно накаплиются войска.
А внизу,—
Хоть мы и вправду с вами
В чудеса не верим на Руси,—
Словно рыбы с красными глазами,
Мимо нас проносятся такси.
Кажется,
Что город в самом деле
Под воду ушел —
И навсегда.
Лишь торчат, задрав верхушки, ели,
Несколько антенн
И провода.
Все темней,
Все пасмурней —
И странно
В двух шагах угадывать едва
Те же
Экскаваторы и краны,
Как другого мира существа.
Словно впереди
Не Юго-Запад,
А залив полярный
И суда,
Где, стекая с поручней,
На трапах
Вяжет пену хитрая вода
И, как маяки,
В густом тумане
Зажигают башни красный свет,
Чтобы знали даже марсиане,
Что под ними —
Университет.

Л Всеволод
Лобода

Прелюдия

Пока вверху
Капель шальная
Бьет молоточками о лед,

Как будто,
Отдыха не зная,
Радист тире и точки шлет,—

Там, у корней,
В крошечном мраке,
Как в закипающем котле,
Бурлит такой излишек влаги,
В хмельной
Скопившейся земле,—

Такая
Там идет работа,
Что пар клубится все теплей
И провисают
Грозди пота
С дубов, берез и тополей.

И что ни ствол —
Ночной порою
Там брагу эту пьет взасос,
Как будто
Вправду под корою
Ее толкает вверх насос.

Возьму вот
И зазеленею,
Как ветвь, стучащая в стекло!
Весна.
Ну как мне сладить с нею,
Несущей синее тепло?

Поэт Лобода Всеволод Николаевич родился в 1915 году.

До войны учился в Литературном институте. Многие из поэтов «среднего поколения», наверное, его помнят. Всеволод рано начал печататься. Сотрудничал в юношеских журналах, в «Пионерской правде». С начала войны работал на радио, участвовал в радиопередачах «Письма на фронт». Но осенью того же года сам отпросился в часть. Был пулеметчиком, воевал под Ленинградом, Старой Руссой, Великими Луками. Служил Всеволод в 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Некоторое время работал у нас в дивизионной газете. В ней из номера в номер печатались его корреспонденции и стихи, посвященные героям боев, событиям войны. Публиковались его стихи в центральных газетах тех лет.

Лобода убит 18 октября 1944 года под городом Добеле, в Латвии, при прорыве обороны на реке Айвиексте.

Тогда же я и написал стихи, посвященные памяти моего друга:

Гетман украинский Лобода...
Нет, не гетман, а однополчанин.
Ветры, задувавшие всегда,
Что же так вы сразу замолчали?..

Ведь вчера лишь только с рубежа
Мы в атаку поднимались вместе.

А сегодня сосны сторожат
Холмик твой за речкой Айвиексте.

Ветхая — фанерная звезда.
Берега сползающего кромка...
Гетман украинский Лобода,
Ты оставил славного потомка.

К сожалению, архив Лободы сохранился не полностью, недостает его стихов за многие годы. Может быть, в дальнейшем они будут найдены.

Эта подборка составлена из тех стихотворений, что оказались дома и сохранены матерью поэта — Марией Вячеславовной.

Мы надеемся, что они дают хотя бы частичное представление о творчестве Всеволода Лободы, талантливого молодого поэта и храброго воина, о его зрелых стихах, написанных в годы войны, и о его поисках в стихах довоенного времени.

Имя В. Н. Лободы занесено на мемориальную доску погибших в войну писателей.

В. Субботин

Долг

Невесел в дыме канонады
сугубо штатский человек.
Дрожи.

Повелевает век
запомнить —
как звенят снаряды,

как завывает самолет,
огнем одаривая землю,
как пьют удушливое зелье,
как рвутся в панике вперед.

Век не под стать страстям квартирным
и пенью птичьему.

А ты
писал стихи,
вдыхал цветы
под небом розовым и мирным.

Теперь положено черстветь
рукам,

сжимающим винтовку,
и смерть берет на изготовку,
хотя ты прожил только треть.
Ну что ж, погодки молодые,
посуровеем —

и не жаль:
ведь нам видения седые —
как полю град на урожай.
Заголосят витые трубы,
и ты —
во мраке и в крови,—
забыв о нервах,
стиснув зубы,
как ветер,
тучу изорви.

Не под луной прогулка встретить
на расстояньи локтя бой.

Еще не мы,
но наши дети
задышат радостью одной.

Коль не зияют сзади бреши,
растает скоро бранный дым.
Умрешь

иль выйдешь постаревшим,
но сильным,
светлым
и большим.

Умрешь иль нет,
тебе по нраву —
поэта первая строка,
непререкаемая слава,
сплошное солнце на века.

В тундре, воя, рыщет вьюга
по ярангам, по снегам.
В тундре вьюга вяжет туго
по рукам и по ногам.

В нерпу вкутавшись по брови,
прыть упряжек удержав,
мне б дурман оленьей крови
с чукчей пить на брудершафт.

И опять, ныряя в нарты,
под глухой собачий гам
мчат на край полярной карты —
к ледовитым берегам.

Дальше!..

Умереть и выжить,
как промерзшая река,
чтобы с белой бурей к рыжим
звездам ехать по векам.

И тогда порывом бросим
сесть на золото травы
у платформы Маленковской,
близко города Москвы.

Где, встречая поезд поздний,
в неподвижности, в тоске
перешептывались сосны
на чукотском языке.

Где, встречая поезд поздний,
сквозь чужие голоса,
сквозь метели и морозы
светят сполохи-глаза.

Рвется в темень белая беда —
предок мой Григорий Лобода.
Скачет гетман.

Все его добро —
стремени да чуба серебро.
Ночь наполнив цокотом коня,
скачет, скачет прямо на меня.

А Всеволод Заров

Марку Шехтеру

...И слово, с которым мы
Боролись всю жизнь, оно теперь
Подвластно нашей руке.

Багрицкий

Уходит наше поколение
По одному, по одному,
Как будто волны, в нетерпении
Швыряемые штормом в тьму.

Но люди с волнами не схожи,
И звездный Будущего свет
С тем схож, что нам всего дороже
И в жизни свой оставил след.

Еще мы чувствуем и мыслим,
Еще глядим во все глаза,
Как мастер изумленной кистью
На холст наносит небеса.

Как грозно и бесповоротно,
Пока клокочет кровь в груди,

Я проснусь, я встану, побреду.
Переулки мечутся в бреду.
И шуршат сугробы.

И с ума
сводит вьюга, скользкая зима.

Ляжет на исхоженном пути
так,
что ни проехать, ни пройти.

Лед или глухая лебеда
там, где скачет, скачет в никуда
запорожский гетман Лобода.

А в Москве —
летая, тает снег,
переулки мечутся во сне.
Переулки тянутся к весне.

Что ж! Я по распутице пройду,
я в тебя, Москва моя, иду,
песни зажигая на ходу.

Я иду.
Мечтаю о Москве,
птицей в клетке — жилка на виске.
Я иду.
Так времени топор
разрубает с прадедами спор.

Ее он отдает полотнам,
К вершинам приоткрыв пути.

Тем, о которых мы мечтали
В недолгом юношеском сне,
Еще не испытав печали,
Что выстрадана на войне.

В чем то, что ты оставишь? В детях,
В мечте, к которой трудно шел?
Приносит вновь тревожный ветер
Лесную гарь и горечь смол.

Сосна темно-зеленой кроной
Восходит дерзко в небеса,
Не зная страшного урона,
Что может причинить гроза.

Что сделать, чтобы в дне грядущем,
Который с нашим тесно слит,
Деревьев не скудели кущи,
Едва взошедшие в зенит?!

Из книги «Удивление»

Перевожу Табидзе Тициана

Н. А. Табидзе

Вторые сутки не могу забыться,
Вторые сутки сном не дорожу:
Замученного каторгой Табидзе
Веселые стихи перевожу.
Перевожу на тот язык, которым
Был неугоден Лермонтов царю,
Что стал пророчеством и приговором,
Родившийся не по календарю.
Вторые сутки на скалу печали
Всхожу я, задыхаясь тяжело,—
В тридцатых

тучи, помнится, венчали

Казбека благородное чело.
Вторые сутки голос Тициана
Звучит, вернувшись из небытия...
Мечтателя дымящаяся рана
Взывает к веку, боли не тая.
В крови моей,

в душе моей,

в рассудке

Костры тоски и юности горят;
Во мне грузин живет вторые сутки,
Отважный воин,

доблестный собрат...

Вторые сутки не могу забыться,
Вторые сутки сном не дорожу:

В Павел Асильев

Творчество Павла Васильева (1910—1937), поэта «недожженного дарования», по отзыву А. М. Горького, в последние годы привлекает к себе все возрастающее внимание советского читателя, преимущественно молодежи.

И это естественно. Поэт и сам являлся активным строителем нового мира. Он воспевал в своих произведениях молодость и силу Советской страны, «окрепшие голоса первенцев Наркомтяжпрома», «породу высоких звездных дум своего века». Именно борьба нового со старым и победа нового — центральная тема, главная линия в творчестве поэта.

Юному Павлу Васильеву дано было проникнуться зрелой и глубокой мыслью, верой в силу народа, который под руководством величайшей в мире партии преобразует страну:

Но верю крепко — повернется жизнь,
И средь тайги сибирские Чикаго
До облаков поднимут этажи.

Ему виделось, как Сибирь спешит «сменить бусы из клыков зверей на электрические бусы», «как в пламени зари, под облачную высоту, полынные родные пуштыры завод одел железною листвою».

Думы поэта, выраженные в стихах потрясающей художественной силы, в которых

Замученного каторгой Табидзе
Веселые стихи перевожу.

У меня из железа сердце,
Не берет его ничего,
Как там недруги ни усердствуй,
Продолжается жизнь его.

Десять раз оно умирало —
Отступали наук жрецы;
Будто знатного генерала,
Покрывают его рубцы.

И хорошее тоже было,
И не требовалось прикрас,
А любило уж — так любило,
И умеет любить сейчас.

Слезы лить — это очень просто,
Удержаться куда трудней;
Дай дожить мне хотя бы до ста,
Озабоченность наших дней!

Зеленейте, дубы и клены!
Пойте, школьницы, на мосту!
Я хочу умереть влюбленным
В человечества доброту.

Унесут на кладбище — баста:
Там не радуйся, не грешн...
Не умеющие улыбаться,
Я жалею вас от души!

он часто выступает подлинным новатором, близки и его землякам — сибирякам, и молодым покорителям целины, и строителям Братской ГЭС. Они близки молодому поколению нашего времени, наполненного трудовыми подвигами и величайшими свершениями. Недаром комсомольцы Омска на страницах газеты «Молодой сибиряк» писали о Павле Васильеве:

«Мы в долгу перед ним, поэтом редкого по самобытности таланта, оставившим людям стихи прямо-таки бешеной ярости, потрясающего чувства жизни».

Молодежью Павлодара, где поэт провел юные годы и позднее превзошел в поэме «Христоробовские ситцы» его индустриальный расцвет, создано и успешно работает литературное объединение имени Павла Васильева.

Литературное наследие поэта изучается молодыми специалистами-литературоведами, студентами филологических факультетов, аспирантами. С интересными работами выступили Тамара Мадзигон, студентка Московского педагогического института имени В. И. Ленина, Юрий Кузнецов, ленинградский студент, Александр Калинин, студент Московского политехнического института. Работы молодых литературоведов еще ждут оценки читательской общественности, но уже сейчас можно отметить с большим удовлетворением работу авторов по разыскиванию стихов поэта, находящихся в литературных архивах.

Эти находки дополняют наше представление о творческих замыслах Васильева, дополняют, дорисовывают его образ поэта-гражданина.

В Москве плодотворно работает Комиссия по литературному наследию Павла Васильева. Ее возглавляет поэт Сергей Поделков. Комиссия собрала ценные материалы, относящиеся к творческой биографии Павла Васильева. Среди этих материалов воспоминания и высказывания о поэте многих выдающихся советских писателей, в частности А. Н. Толстого и Б. Л. Пастернака.

В данном сборнике публикуются стихи Павла Васильева раннего периода, отысканные в ЦГАЛИ Тамарой Мадзигон.

Ю. Саенко,

Затерян след в степи солончаковой,
Но приглядись — на шее скакуна
В тугой и тонкой кладнице шевровой
Старинные зашиты письма.
Звенит печаль под острою подковой,
Резьба стремя узорна и темна.
Здесь над тобой в пыли многовековой
Поднимется курганная луна.
Просторен бег гнедого иноходца.
Прислушайся! Как мерно сердце бьется
Степной страны, раскинувшей тут,
Как облака тяжелые плывут.
Над пестрою юртю у колодца
Кричит верблюд и кони воду пьют.

Бахча под Семипалатинском

Змеи щурят глаза на песке перегретом,
Тополя опадают. Но в травах густых
Тяжело поднимаются жарким рассветом
Перезревшие солнца обветренных тыков.
В них накопленной силы таится обуза —
Плодородьем добротным покой нагружен,
И изранено спелое сердце арбуза
Беспощадным и острым казацким ножом.

Здесь гортанная песня к закату нахлынет,
Чтоб смолкающей бабочкой биться
в ушах,

И мешается запах последней полыни
С терпким запахом меда в горбатых
ковшах,

Третий день беркута уплывают в туманы
И степные кибитки летят, грохоча.

Перехлестнута звонкою песней бурьяна,
Первобытною силой взбухает бахча.

Соляною корою примяты равнины,
Но в подсолнухи вытканый, пестрый
ковёр,

Засияв, расстелила в степях Украина
У глухих берегов пересохших озер!

Наклонись и прислушайся к дальним
подковам,

Посмотри,— как распластано небо
пустынь...

Отогрета ладонь в шалаше камышовом
Золотою корою веснушчатых дынь.

Опускается вечер,
и видно отсюда,

Как у древних колодцев блестят валуны
И, глазами сверкая, вздымают верблюды

Одичавшие морды до самой луны!

В августе — сентябре 1943 года, после того, как Советская Армия освободила от фашистских захватчиков город Орел, Б. Л. Пастернак вместе с группой писателей, в состав которой входили А. С. Серафимович, В. В. Иванов, К. А. Федин, П. Г. Антокольский и другие, совершил поездку на фронт и побывал в частях действующей армии. Впечатления от этой поездки легли в основу широко задуманной поэмы «Зарево». замысел поэта остался незавершенным. Однако вступление к поэме было написано и 15 октября 1943 года опубликовано в газете «Правда».

Зарево

Вступление в поэму

1

Нас время балует победами,
И вещи каждую минуту
Все сказочнее и неведомей
В зеленом зареве салюта.

Все смотрят, как ракета, падая,
Ударится о мостовую,
За холостою канонадою
Припоминая боевую.

На улице светло, как в храмине,
И вид ее неузнаваем.
Мы от толпы в ракетном пламени
Горящих глаз не отрываем.

2

В пути из армии, нечаянно
На это зарево наехав,
Встречает кто-нибудь окраину
В блистании своих успехов.

Он сходит у опушки рощицы,
Где в черном кружеве, узорясь,
Ночное зарево полощется
Сквозь веток реденькую прорезь.

И он сухой листвою шествует
На пункт поверочно-контрольный
Узнать, какую новость чествуют
Зарницами первопрестольной.

Там называют операцию,
Которой он и сам участник,

И он столбом иллюминации
Пленяется, как третьеклассник.

3

И вдруг его машина портится.
Опять с педалями нет сладу.
Ругаясь, как казак на Хортице,
Он ходит, чтоб унять досаду.

И он отходит к ветлам, стелющим
Вдоль по лугу холсты тумана,
И остается перед зрелищем,
Прикованный красой неожиданной.

Болотной непроглядной гущею
Чернеют заросли заречья,
И город, яркий, как грядущее,
Вздывается из тьмы навстречу.

4

Он думает: «Я в нем изведу,
Что и не снилось мне доселе,
Что я купил в крови победою
И видел в смотровые щели.

Мы на словах не остановимся,
Но, точно в сновиденьи вещем,
Еще привольнее отстроимся
И лучше прежнего заблещем».

Пока мечтами горделивыми
Он залетает в край бессонный,
Его протяжно, с перерывами
Зовет с дороги рев клаксона.

Елена Михайловна Ширман — советский журналист и поэт — была зверски замучена гитлеровцами в станице под Ростовом.

Для всех, кто сколько-нибудь близко знал Лену при жизни, ее образ памятен и дорог. Она была талантлива: писала, рисовала, удивительно красиво, по-народному, умела рассказывать сказки. Газета «Прямой наводкой», которую она редактировала в период между двумя оккупациями Ростова-па-Дону, носит тот же отпечаток ее страстной прямолинейной личности, что и ее стихи. И в рисунках, здесь помещенных, острых, композиционно стройных, и в кратких информациях, и в едкой, меткой, доступной каждому солдату сатире чувствуется рука Лены, даже тогда, когда они подписаны псевдонимом.

Все, что она делала в жизни, она делала серьезно, честно и страстно. Она работала литературным консультантом в «Пионерской правде», отвечала на письма детей, присылавших в газету свои произведения. Эта переписка превращалась порой в многолетнюю дружбу. И многие Ленины «дети», сейчас уже ставшие взрослыми, вспоминают о своей наставнице как о друге, как об одном из самых значительных людей, каких им довелось встретить.

Она была превосходной спортсменкой, и ее влекла спартанская мужественная красота. О ней она писала в своих стихах. И сама она хотела быть мужественной и сильной. Это стремление к мужеству и силе проистекало оттого, что она вместе со своим поколением готовила себя всю жизнь к жестоким испытаниям. Ей была присуща широта характера, все мелочное, мещанское, жадное, частнособственническое она отталкивала и ненавидела.

Мне лично образ Лены особенно дорог ее верой в человека и его будущее. Записывала ли она в деревнях сказки, читала ли детские письма или же просто беседовала с товарищами по Литературному институту, она всюду искала крупинцы таланта, характера, индивидуальности. Она особенно любила их находить тогда, когда они не бросались в глаза. Она знала, что дар творчества заложен во многих и многих рядовых людях. И она умела в каждом, к кому подходила, найти этот дар, найти лучшее, что есть в человеке. Найдя, она, не жалея ни сил, ни средств, растила и лелеяла. Словно всей своей работой, всей деятельностью, всей силой своей души она желала способствовать рождению нового человека, свободного от груза пороков прошлого, человека коммунизма.

Этот поиск нового человека был ее подлинной страстью, он одухотворял и украшал ее жизнь. И сама она была таким новым, необыкновенным человеком — страстным, принципиальным, бескорыстным, мужественным до последнего дыхания.

Л. Наппельбаум

Поэзия

Пусть я стою, как прачка над лоханью,
В пару, в поту до первых петухов.
Я слышу близкое и страстное дыханье
Еще не напечатанных стихов.

Поэзия везде. Она торчит углами
В цехах, в блокнотах, на клочках газет.
Немеркнувшее сдержанное пламя,
Готовое рвануться и зажечь,

Как молния, разящая до грома.
Я верю силе трудовой руки,

Что запретит декретом Совнаркома
Писать о родине бездарные стихи.

Над пропастью

Стоят надо мною горы,
Высокие, как мечты.
Лежат подо мною Дигоры,
Невидимые почти.
«Пусть будет, как будет...» — прощайся,
Сказал ты. И скрылся. И вот,
К словам твоим возвращаясь,
Гляжу с непривычных высот.

Пусть будет, как будет... От века
 Шаманы, жрецы и попы
 Внедряли в умы человека
 Покорность велениям судьбы.
 Пусть будет, как будет... Ведь лучшей
 Вселенной под звездами нет.
 И лермонтовский поручик
 Подносит к виску пистолет.
 Пусть будет, как будет... Разумно
 Все сущее на земле.
 И Гегель, не зная Шумана,
 О прусском поет король.
 Но семя чревато ростом.
 И в страхе и муке глядит
 На черные язвы Панглоса
 Колеблющийся Кандид.
 И толпы людей взъяренных —
 Земли трудовой костяк —
 Швыряют в лицо законам
 Разгневанное: «Не так!»
 И ныне в стране, распашнутой
 От синих до бурых гор,
 Умы и поля распаханы
 Всем судьбам наперекор.
 И я, спотыкаясь в пене
 Недоброй, гневной Лабы,
 Бреду впереиз течения
 Лукавой своей судьбы.
 Пусть ноги скользят и берег

Не близок, но я не ропщу.
 Я слишком судьбе не верю.
 Я многого слишком хочу.
 Хочу, чтоб тебя не обуглил
 Пожар бытовых стихий.
 Чтоб вечно — светлый и смуглый —
 Читал мне свои стихи.
 Чтоб вечно рассветное небо
 В твоих зеленело глазах,
 Чтоб места в душе твоей не было
 Понятиям «ложь» и «страх».
 Чтоб в Перу, Пальмире и Польше
 (Любую страну назови)
 Рождалось людей побольше
 Моей и твоей крови.
 Чтоб сбросили дряхлую ветошь
 Привычек, приличий, примет,
 Чтоб встали, мечтою согреты,
 Под знамя высоких побед
 И сделали нашу планету
 Прекраснейшей из планет.
 Стоят надо мной вершины,
 Доступные, как мечты.
 Лежат подо мной стремнины
 Нетроганой красоты.
 И, к камню прижавшись грудью,
 Над пропастью я кричу:
 «Пусть будет не так, как будет!»
 Пусть будет, как я хочу!»

Ф С. И. ОНСКАЯ

У нас в «Голицыно»

Автор этих коротких мемуарных новелл, Серафима Ивановна Фонская, свыше тридцати лет работает директором Дома творчества в Голицыне, под Москвой.

В этом небольшом, но удивительно уютном доме, где всегда необыкновенно хорошо работается, за минувшие десятилетия побывало много литераторов. В их числе — крупнейшие советские писатели, люди разных поколений, творческих судеб, представители многих братских республик.

Бывали здесь и русские писатели, вернувшиеся на родину после долгих лет эмиграции, — в их числе А. И. Куприн.

Сейчас С. И. Фонская работает над циклом новелл, в которых содержатся воспоминания о ее встречах, беседах, дружеских взаимоотношениях с людьми, дорогими сердцу каждого, кто любит нашу литературу. В этих рассказах, написанных очень просто, сердечно и достоверно, запечатлены неповторимые штрихи писательских биографий.

Мы печатаем в сборнике две новеллы Серафимы Ивановны Фонской, посвященные Мусе Джалилю и Василию Каменскому.

1. Джалиль

Пожалуй, не бывало в нашем Доме творчества обитателя более жизнерадостного, чем Муса Джалиль — человек, полный светлого обаяния.

Приехав, он представился и живыми черными глазами быстро осмотрел все вокруг.

— Кто живет в этом доме?

— Малышкин, Ляшко, Слезкин, Егише Чаренц.

— Это хорошо! Будем знать. Распорядок? Обед, завтрак когда? По звонку? — молниеносно расспрашивал он.

— Звонка нет.

— И это хорошо. К себе идти можно?

И началась его жизнь у нас со слов: «Это хорошо».

Необычайная аккуратность отличала его во всем. Тщательный порядок в комнате, до блеска начищенная керосиновая лампа (не было тогда электричества у нас). Все, кто заходил к нему, удивлялись:

— У тебя что, особо убирают? Такой чистоты ни у кого не увидишь.

— У меня никто не убирает. Да я и не позволю никому это делать. А я на что? Здесь и так о нас весь день заботятся: то дрова тащат, то печи топят, то воду носят, а лампы — одни лампы наши замучить могут. Каждому хорошую поставь.

Муса смеется.

— А моя лампа такая милая — не горит... не горит, — певуче тянул Муса. — Я фитиль и так и этак, а она улыбается.

— Кто улыбается?

— А лампа моя — то ярко посветит, то снова нахмурится. Я — за фитиль... Туда, сюда. Улыбки нет... Сижу, думаю: милая, загорись, посвети!

И все смеялись над его словами.

С людьми Джалиль сходилась быстро.

— Сердце мое открыто для каждого человека, — говорил он.

Дружил с Н. Н. Ляшко. Подолгу они вдвоем сидели в саду и беседовали. Ляшко часто говорил: «Горячая, умная голова у Джалиля. Слушаю я его — как будто песня хорошая звучит, а стихи душевные, звучные, добрые, — далеко пойдет Джалиль».

Джалиль любил лес, любил вечером, в сумерки, сбегать — да-да, не сходить, не пойти прогуляться, а именно сбега т ь в лес. Он так и говорил.

— Тут жилье, звуки другие, чем в лесу. А в лесу шорох, щебет. Слышали ли вы, видели ли вы, как над лесом к вечеру летят журавли? В воздухе уже северно...

Муса ежится, как будто ему холодно, и продолжает:

— Только взмахи крыльев летящей стаи, их особый шелест, шуршащий шелест одного ритма. Я люблю смотреть на птиц, летящих к теплу. Были бы крылья, и я бы вместе с ними — ввысь, к солнцу.

Когда в сумерки Муса спешил в лес, живший в то время у нас Ю. Л. Слезкин шутиво спрашивал его:

— Муса, на тягу?.. А где ружье?

— Почему тяга? — говорил Муса. — Я убивать никого не хочу и не буду. Пусть все живет. В лес иду. Смотреть. Слушать.

Смеялся он звонко, упираясь руками в бок, приседая. И тогда смех его звенел еще сильней.

Ляшко часто говорил:

— Слушайте, слушайте! Как будто весенние капли дождя весело бьют по крыше. Это смеется Джалиль.

Муса был приветлив со всеми.

— Одна семья у нас, — украинец и русский, татарин и якут, грузин и чуваш, и немец — все живем под одной крышей, в одной семье. Домик наш маленький, хороший тем, что он интернационален. Я мир вижу не одними своими глазами, а всеми нашими глазами — всех братьев своих. Я хочу учиться и хочу суметь взять то хорошее, что есть у каждого из вас.

Когда Муса уезжал, все пошли провожать его. Цепочкой растянулись люди. Он шел первым и, оглянувшись назад, остановился.

— Да ведь так летят гуси и журавли. Но у них опытные, старые вожаки. Я не могу быть впереди. Опыта нет. Прошу, Николай Николаевич, вам положено идти впереди...

Он задумался и добавил:

— Все птицы улетают к теплу, а нам улетать не надо, у нас всюду тепло.

Джалиль поднял высоко руку, поклонился сотрудникам Дома:

— До свиданья, милый дом! Я вернусь!

В кпиге записей Дома творчества Муса оставил подробную запись. Вот отрывки из нее:

«Я в Доме творчества «Голицыно» сделал многое.

Ввиду неблагоприятных условий в Москве, я не мог закончить ряд произведений, начатых много больше года тому назад. Я их здесь завершил.

Я не могу не отметить один очень положительный для меня момент, который заключается в том, что я впервые здесь находился в близких отношениях с большими русскими писателями.

Эти товарищи окружили меня чистосердечной товарищеской атмосферой.

Я чувствовал родную теплую семью в «Голлицыно», в мире живущих здесь писателей — Мариэтты Шагинян, Виктора Финка, Николая Архипова, Юрия Слезкина, Замчалова, Н. Ляшко.

Я считаю, что Дом творчества может явиться замечательной школой интернационального воспитания и смычки старых с молодыми.

С приветом, М. Д ж а л и л ь.

5. 3. 1935 г. »

2. Каменский

В тихий, безветренный день автомашина скорой помощи доставила на дачу, в Голлицыно, Василия Каменского.

Я пришла к нему в полдень. Каменский сидел грузный в темно-сером костюме, в белой рубашке, без галстука. Плетеное кресло, казалось, развалится под тяжестью этого человека. Правая рука безжизненно лежала на подлокотнике.

Застывший взгляд серых больших глаз, чуть падающие жидкие прядки темных волос, беспорядочно покрывающие большой, удивительно красивый, высокий лоб. И это тот сильный, смелый летчик? Поэт... Друг Маяковского?..

Увидев меня, Каменский трудно поднялся с кресла, опираясь левой рукой на стол. Высокий, широкоплечий, казалось, он заполнил всю небольшую комнату. Потухшим взглядом посмотрел на меня, сияясь улыбнуться. Но вместо улыбки получилась гримаса. Казалось, во рту тяжело шевелится язык, он старался что-то сказать и не мог. Как это не вязалось с его богатырской фигурой!

Я поздоровалась и попросила его сесть.

И в эту минуту с необычайной остротой вспомнила давний студенческий вечер и его выступление у нас, молодую аудиторию, к которой он обращался, подняв

свою большую, сильную руку. И голос его, раскатистый, как лесное эхо:

Братья, друзья, женихи,
Эй, невесты, девушки,
Подыдем бокалы
За нашу молодость,
Выпьем вино за стихи...

И, вспомнив это, я громко прочитала строки, оставшиеся в памяти. Глаза Каменского на миг вспыхнули, и крупные слезы полились по его лицу...

Он снова силился что-то сказать, но понятия я ничего не могла. Левая рука его нашла в кармане пиджака красный карандаш, и он написал крупно, отдельно: «Е... ще... е...»

Я несколько раз повторила эти стихи... Слезы... Я взяла его большую, тяжелую руку в свои ладони, и он улыбнулся.

Каменский жил у нас лето. Приезжали к нему жена, сын, а когда он был один, то окружал себя бумагой, карандашами. Как-то я зашла навестить его. Он был бодрее. Сидел в большом кресле, которое можно было возить. На стуле рядом лежал блокнот. Он рисовал голубое мягкое небо, синюю воду и два парохода, идущих друг к другу навстречу. На борту большого парохода красными детскими буквами было выведено: «Владимир Маяковский». Из трубы этого парохода высоко в небо валил громадными клубами дым, летели красные искры. И второй пароход, меньшего размера, шел по серовато-голубой воде Камы. На борту надпись — «Василий Каменский». И тоже валил дым из трубы, но искры были желтые да синие. В небе над этим пароходом потухал закат.

Я вопросительно поглядела на поэта. Он написал: «Младший брат салютует большому брату».

Потом добавил к этим словам: «Идут по Каме два парохода, два... друга».

Он любил свои рисунки. Он жил, любился мягкими, теплыми красками и линиями, которые мог еще создавать...

В Доме творчества готовились встречать Новый год.

Каменский жил недалеко от дома — все решили его поздравить. Приготовили для него круглый бисквит, запекли в нем де-

нежку на счастье, на здоровье. В пакеты положили конфеты и фрукты. В десять часов я отправилась к Василию Васильевичу, нагруженная новогодней снедью и поздравительным письмом от живущих в Доме. Послание это подписали Смеляков, Зив, Кравченко, Аграновский и другие.

Подошла к ярко освещенному маленькому домику. Из окна, украшенного морозом, слышалась музыка. На стук вышла хозяйка. Увидев меня со свертками, распахнула дверь и бросилась в комнату к Василию Васильевичу. Она скоро появилась, попросила чуточку подождать. Из комнаты доносились тяжелые вздохи. Я спросила потихоньку хозяйку, что происходит.

— Он говорит: «Ко мне пришли, в такой вечер я должен быть одет по-праздничному...» Костюм суконный тонкий надеть хочет. Подождать просил малость, одекolon велел принести.

Через несколько времени я вошла с кулками и маленькой елочкой. Увидела Василия Васильевича, тщательно выбритого, причесанного, в белоснежной рубашке с черным галстуком и тонкого черного сукна костюме. Ноги были закрыты белым одеялом и пледом, в ногах стоял приемник, на тумбочке лежала только что вышедшая его книжка, масса рисунков. Пахло одекolonом. Я поздравила Каменского от писателей и коллектива, положила свертки. И тут апельсины и яблоки вывалились из пакета на пол. Он засмеялся, смех его был тихим, чуть колыхалось большее тело. Потом Василий Васильевич посмотрел на завязанный марлей узелок с бисквитом. Мне стало неловко: как куличи на пасху носят старухи,— подумала я, и ему тоже, вероятно, так показалось, и он все улыбался. Я передала письмо, он взял его левой рукой, долго читал и сказал: «Поэ... ты — кто?» — показал на подписи.

Я указала на подпись Смелякова.

— Сти-хи... стихи... — повторял медленно он.

Я прочитала на память:

В буре электрического света
Умирает юная Джульетта.

Праздничные ярусы и ложи
Голосок Офелии тревожит.

В золотых и темно-синих блестках
Золушка танцует на подмостках.

Наши сестры в полутемном зале,
Мы о вас еще не написали!

В блиндажах подземных, а не в сказке,
Наши жены примеряли каски.

Не в садах Перро, а на Урале
Вы золою землю удобряли.

На носилках длинных под навесом
Умирали русские принцессы.

Возле, в государственной печали,
Тихо пулеметчики стояли.

Сняли вы бушлаты и шинели,
Старенькие туфельки надели.

Мы еще оденем вас шелками,
Плечи вам согреем соболями.

Мы построим вам дворцы большие,
Милые красавицы России.

Мы о вас напишем сочиненья,
Полные любви и удивленья.

— Е-ще,— тихо говорил он.

Прочла еще раз.

Каменский был растроган. Елочку он сперва не заметил. Я перенесла ее к постели. Василий Васильевич широко открытыми глазами жадно смотрел на живую эмблему Нового года.

— Новый год... счастье,— чуть слышно проговорил он.

Взял письмо, хотел положить в боковой карман, но рука плохо повиновалась. Заволновался, положил письмо около приемника и медленно, с каким-то внутренним жаром, громко, на всю комнату, произнес: «По-э-тов на-до лю-бить!» И второй раз: «По-э-тов на-до лю-бить!» И, вероятно, сам был поражен сказанным, сразу затих, показал рукой на елку. Я подала ему ее. Василий Васильевич взял письмо, развернул и повесил его на маленькие пахучие ветки, подтянулся к приемнику, включил. Полированный поющий ящик и малютка елка, убранные руками товарищей, яркие апельсины, розовые яблоки наполнили комнату светом дружбы и пульсом больших человеческих сердец. Из комнаты ушло одиночество, притихла болезнь. Радио передавало праздничную музыку. Поэт-летчик со всей землей своей встречал Новый год.

Я протянула ему руку, он наклонился и поцеловал ее.

— Спа-си-бо! Спа-си-бо! По-э-тов на-до лю-бить! — он старался говорить внятно... Откинулся на подушки. Усталость и волнение брали свое. Лицо было спокойно, но в серых глазах светилось счастливое волнение.

Я вышла на улицу. Лучились окна, скрипел снег под ногами. Пушистые ветви берез гнулись под тяжестью хлопьев.

Поэтов надо любить, поэзией труда надо жить — говорили небо, лес, мороз.

И. А. Бунин начал печататься как поэт в 1887 году, в семнадцатилетнем возрасте,— первым его напечатанным стихотворением было «Над могилой С. Я. Надсона» (еженедельник «Родина», № 8).

В той же «Родине» в течение 1887—1888 годов появился целый ряд стихотворений Бунина, частично вошедших потом в первый его поэтический сборник: «Стихотворения. 1887—91 гг. Орел, 1891 г.».

Кроме стихов в «Родине» в 1888 году было опубликовано несколько критических статей Бунина, одна из которых, «Недостатки современной поэзии» (№ 28, 1888), никогда с тех пор не перепечатывавшаяся, и приводится здесь.

Статья, написанная восемнадцатилетним поэтом, говорит о большой культуре автора, о несомненной зрелости его критической мысли и является, в известной мере, утверждением тех литературных взглядов, которым Бунин следовал всю жизнь,— взглядов реализма.

Широкий поэтический фон эпохи; неразрывность формы и содержания; красота повседневности как материал для поэзии; необходимость в поэзии гражданских мотивов; верность классическим традициям; зов «ближних» к «добру и прекрасному»; разнообразие поэтических тем — все это и многое другое характеризует статью юного поэта как боевое выступление против безыдейности в творчестве.

Статья, всячески ратующая за реализм в поэзии, не потеряла интереса и в наши дни. Она является не только документом, характеризующим литературные принципы Бунина поры его творческого становления, но имеет и более широкое и общее значение, еще и еще раз подтверждая устами великого мастера слова, что поэзия не «сладкозвучная погремушка», а отражение и воплощение «живой поэзии».

Н. Смирнов

Недостатки современной поэзии

В то время, как за последние годы возрос интерес к лирической поэзии и появилось значительное количество поэтов, часто весьма талантливых и даровитых,— постоянно раздаются жалобы на недостатки, обнаруживающиеся в их произведениях: упрекают в излишнем увлечении личными, индивидуальными чувствами, в «нытье», принявшем за эпидемические размеры, в отсутствии искренности, в натянутой тенденциозности на гражданские мотивы и т. д. Вместе с этим, делают упреки в несовершенстве поэтической формы и в непонимании требований изящного искусства. В подобного рода критике и рецензиях заключается, конечно, серьезная доля правды, но, с другой стороны, подчас встречаешь и невероятные несообразности и преувеличения. Лицам, недостаточно следящим за современной поэзией, иногда бывает чрезвычайно трудно, на основании отзывов печати, составить более или ме-

нее определенное представление о произведениях того или другого поэта.

За последнее время много, например, писалось и говорилось о г. Фофанове. Некоторые издания ставят его не только в ряду первых, но даже первым из современных представителей лирической поэзии. Например, «Еженедельное обозрение», журнальчик, снабженный многими весьма талантливыми сотрудниками, говорит, что на г. Фофанове «покоятся их надежды», ставит его выше всех и в некотором отношении даже выше покойного Надсона. Однако, о том же самом Фофанове один из наших самых солидных журналов, «Русская мысль», говорит, что не только не считает г. Фофанова поэтом, но полагает, что его следует отнести и к стихотворцам-то весьма плохим. Ясное дело, что здесь кроются некоторые недоразумения и при этом вытекающие не из каких-либо посторонних эстетике побуждений, а просто из отсутствия здравых требований

от искусства. Мы понимаем, например, г. Буренина, когда он ополчается на современных поэтов: ему антипатично все их направление, а потому он и является пристрастным, часто до смешного. Совсем иное дело, когда речь идет об изданиях, поименованных выше. Но если даже в таких серьезных и почтенных органах, как «Русская мысль», приходится читать излишне пристрастные суждения, то что же ожидать от изданий низшего калибра? Нам кажется, поэтому не безынтересно остановиться на вопросе об общих принципах, полагаемых в основании лирической поэзии и искусства вообще.

Всякое поэтическое произведение складывается из двух элементов: содержания и формы. Для того чтобы удовлетворить первому требованию, во времена преобладания ложно-классических взглядов на искусство полагаем, что материал, достойный и доступный поэзии, ограничен довольно тесными рамками: поэты должны были не только по определенным, заранее установленным образцам создавать свои произведения, но и выбирать предметы возвышенные и прекрасные — все прочее из поэзии совершенно изгонялось: главным образом воспевали героические поступки, одушевлялись патриотизмом, божьим величием, или же риторически-ходульным образом воспевали любовь, идиллических пастушков, наяд, фавнов и т. п. обломки классической мифологии. Романтизм значительно расширил пределы поэтического творчества: жизнь сердцем и искреннее проявление нежных чувств составляли главное содержание романтических произведений.

С дальнейшим развитием поэтического творчества для всех стало ясно, что содержанием для поэзии может быть все, что затрагивает человека в его индивидуальной и общественной жизни, лишь бы это не переходило границы приличия и не впадало в пошлость.

Поэзия может и должна затрагивать самые разнообразные предметы. Поэт, как и всякий другой, находится под влиянием как общечеловеческих условий и интересов, так и национальных, местных и временных: ему, как и всякому другому *nil humani alienum est*, поэтому и содержание поэтических произведений может носить в себе отпечаток как общемировых вопросов, так и тех, которые составляют насущную злобу дня. Ограничить услов-

ными требованиями рамки поэзии — значит стеснить свободное проявление человеческого духа, укладывать в прокрустово ложе — мысль, чувства и волю. Мы говорим: и волю потому, что для поэта творчество составляет насущнейший акт его деятельности, одну из важнейших функций его психической жизни. Поэт должен быть отзывчив на всякое движение души, на всякое проявление нравственного и умственного мира, он должен жить одной душой с людьми и с природой:

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.

Или, еще лучше, у Баратынского о Гёте:

С природой одною он жизнью дышал,—
Ручья понимал лепетанье
И говор древесных листьев понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

Но и этого недостаточно: поэт должен проникаться всеми радостями и печалью людскими, быть искренним выразителем нужд и потребностей общества, направить ближних к добру и прекрасному.

Встань, пророк, и виждь, и внемли:
Исполнишь волею моею
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.

Вот истинное призвание поэта, если только на поэзию смотреть серьезно, как на могущественный двигатель цивилизации и нравственного совершенствования людей. Очевидно, что только при свободном развитии своих душевных способностей, при ничем не стесняемом просторе возможно ожидать от поэзии сказанных результатов.

По складу характера, по темпераменту, по известной степени умственного развития, а также под влиянием ближайших жизненных условий, поэт может сосредоточивать свое исключительное или главное внимание на том или ином отделе человеческих интересов и проявлений духа. Один, с более анализирующим умом, с большей склонностью к отвлеченному мышлению может сосредоточиться на философских проблемах жизни и вопросах мироздания (таков, например, «Фауст» Гёте), другой бывает поглощен интересами политики и ближайшими общественными

задачами (Гюго, Некрасов), третий — более всего может быть взволнован любовью (например, в древности Анакреон и т. д.). Что касается последнего рода поэзии, то иногда приходится слышать, что слишком часто злоупотребляют любовными темами. Мы думаем, что это не совсем справедливо. Любовь, как чувство вечное, всегда живое и юное, служила и будет служить неисчерпаемым материалом для поэзии; она вносит идеальное отношение и свет в будничную прозу жизни... Конечно, существует и много других факторов, облагораживающих человека, но неужели они находятся в таком излишке, чтоб ради этого изгонять один из сильнейших? Кроме того, надо заметить, что поэтические темы о любви вовсе не так однообразны. Подобно тому, как сама любовь проходила самые разнообразные фазы развития, так и воспроизведение этого чувства многосторонне и богато содержанием. Народы древнего Востока олицетворяли любовь в грубом, чувственном образе Астарты. Греки, со свойственной им от природы изящностью, в недостижимо-прекрасных формах изображали физическую красоту в образе Венеры, и любовь являлась обоготворением этой красоты, поклонением прекрасным формам. В средние века любовь приняла платонический характер. Рыцари и их дамы сердца — вот основной мотив тогдашней любовной поэзии. Во времена сравнительно новых любовей также видоизменилась: на нее начинают смотреть, как на нравственное единение двух любящих существ, как на союз, определяющий все их будущее направление жизни. Мы полагаем, что идеал любви все-таки еще для многих недостаточно выяснен, и поэзия в этом случае может оказать значительную услугу. Мне кажется, что даже в произведениях, далеко не отличающихся пуританским взглядом на вещи, можно отыскать здоровые задатки нравственности среди различного рода фривольности и кажущейся распушенности. Таковы, например, песни Беранже. Разумеется, в произведениях, более очищенных, более проникнутых целомудренностью, если можно так выразиться, более возвышенных и идеальных, многое можно найти такое, что ведет человека к истинной гуманности, тонкости чувств и пониманию всего прекрасного.

Наполнение же поэтических произведений любовными темами потому кажется зло-

употреблением их, что к ним многие поэты относятся чисто-шаблонным образом, при полном отсутствии искренности, а это уже относится к исполнению, а не содержанию, и это можно сделать с какой угодно темой.

Что касается еще содержания поэтических произведений, то часто слышатся упреки в излишнем увлечении гражданскими мотивами. И здесь есть преувеличение со стороны критики. Теперь почти вошло в моду, в противоположность недавнему прошлому, считать за особенное достоинство поэтических произведений, если они не касаются общественных вопросов, если в них не слышно «гражданских иеремиад», как будто индифферентизм в этом случае — не вещь какое преимущество. Человек, живя в гражданском обществе, не может игнорировать интересов последнего, он связан с ним душой и телом, и весьма странно желать, чтобы поэты, люди, у которых чувства отличаются большей интенсивностью, остались глухи и немые к тому, что интересует субъекта среднего уровня. А если «гражданские мотивы» являются часто узко-тенденциозными и поддельно-преувеличенными, то опять-таки виноваты здесь сами авторы, а не избираемые ими темы.

Теперь несколько слов о пресловутом «нытье».

Мрачное, пессимистическое направление современной поэзии действительно представляет собой явление ненормальное. Как бы ни были безотрадны условия общественной жизни, как бы ни царили в ней порок, эгоизм и корыстолюбие, все-таки современным поэтам нельзя впадать в излишне-преувеличенный пессимизм и на все накладывать черные, и исключительно черные краски, так как в обществе, подобном нашему, не так давно вступившем на путь цивилизации, и не только не истощившем свои жизненные соки, но еще и недостаточно их обнаружившем, всегда существует множество шансов на возможность лучшего будущего, всегда можно открыть такие живые элементы, которые могут проявиться в полном расцвете и силе, если только не терять своей личной энергии и бодрости духа. В обществах разлагающихся, подобно древнему Риму, вполне естественно, если все представители интеллигенции падают духом и не видят просвета в будущем. Интеллигентная мысль в таком, и только в таком случае не имеет воз-

возможности успокоиться на чем-либо отрадном, подающем лучшие надежды. Но сила человеческого духа такова, что даже при самых худших обстоятельствах не всегда угасает искра идеальных стремлений в горячих протестах и в удручающих, мрачных изображениях жизни римских сатириков блистает иногда светлый луч и вера в совершенствование человеческой природы; в стоической философии, обвешанной невыразимой печалью, на темном фоне ее не всегда встречаешь мрачные картины. И если даже интеллигентная мысль древнего Рима не всегда проникнута безусловным отрицанием, то в обществах молодых бодрость и энергия должны быть преобладающим мотивом. Утверждение это вовсе не полагает и не допускает, чтобы следовало проходить перед всеми безобразными явлениями жизни с закрытыми глазами. Как раз наоборот, как мы уже сказали выше, нужно крайне чутко относиться к ним и быть на все отзывчивым. Но пусть наряду с картинами современных бедствий рисуются идеалы лучшего, и будет вера в них и энергия! Это вовсе не значит, чтобы мы предлагали искусственным образом менять тон своей лиры. Искусственности здесь вовсе не требуется. Надо лишь стараться выработать свой характер и волю, не погружаться в исключительно личные чувства, измельчающие душу, а также и не поддаваться царящей моде и рутине. Мы думаем, что мода, понимаемая в смысле тенденциозно вошедшего в жизнь обычая и привычки, играет не последнюю роль в пессимизме современной поэзии: поэты друг от друга заражаются пессимизмом и мрачным отношением к жизни.

Дела так идти далее не могут: поэзия совершенно измельчает, утратит последние зародыши силы, так как для развития ее нужна здоровая пища, а ее и нет почти вовсе.

Новейших поэтов справедливо упрекают и в несовершенстве формы.

Действительно, ни один из них не возвысился до изящества и тонкости отделки поэтов предыдущей эпохи. Следует поэтому обратить серьезное внимание на выработку внешней стороны поэзии. Недостатки ее, по нашему мнению, объясняются многими причинами. Прежде всего, заметно, что поэты не с особенным усердием изучают классические образцы своего искусства. Мы уже не говорим о недоста-

точном знакомстве с древними и европейскими классиками. Несмотря на то, что наше среднее образование зиждется, главным образом, на изучении древних языков, всякий знает, что оно сводится к усвоению грамматических форм и почти вовсе не обращает внимания на художественное воспитание учеников на образцах древней поэзии. Эти пробелы не пополняются и последующим саморазвитием, так как у нас почти вовсе нет хороших переводов, а некоторые авторы и вовсе не переведены. Существующие переводы весьма слабы, даже, например, труды г. Фета, от которого можно было бы ожидать гораздо лучшего исполнения.

Европейских классиков тоже не особенно изучают. Совершенно иначе обстояло дело, например, в Пушкинскую эпоху. Мы знаем, что не только Лермонтов и Пушкин с малолетства ознакомились с французской, немецкой, английской литературами, но даже и второстепенные поэты шли по этому же пути. А теперь не видно даже, чтобы поэты хорошо знали и усваивали русскую поэзию и воспитывались на ее образцах.

Незаметно также, чтобы старшие поэты горячо воспринимали к сердцу успехи своей младшей братии. Из биографии Надсона мы узнаем, что только в 1881 году он в первый раз познакомился с одним из лучших представителей поэтов старшего поколения, Плещеевым, после того, как уже стал известен, а ведь Надсон почти всю жизнь прожил или в Петербурге, или близ него.

Что же сказать о других, которые проживают, например, в глухой провинции?

Нам кажется, что при желании поэты старшего поколения могли бы быть действительно руководителями младших, если не при посредстве личного знакомства, то путем переписки или печати. На долю редакторов выпадает тоже задача направлять по правильному пути развитие современной поэзии, а многие ли исполняют не только эту роль, но даже хоть внимательно относятся к начинающим?

Среди других причин, обуславливающих несовершенство формы новейших поэтов, мы упомянем еще об одной, об излишней поспешности обрабатывать свои произведения и во что бы то ни стало написать как можно больше. Мы полагаем, что здесь даже не может быть извиняющим обстоятельством материальная необеспеченность

поэтов, так как весьма трудно ожидать, чтобы возможно было добывать достаточные средства стихами, как это можно ожидать от беллетристов, фельетонистов, публицистов и пр. Нам кажется, что поэ-

там не следовало бы увлекаться желанием написать как можно более, и не забывать в высшей степени прекрасного и благоразумного правила: «*pes multa, sed multum*».

М Тамара азур

Об одном несостоявшемся издании

Изучая архив К. Случевского, мы обнаружили документы, рассказывающие об одном интересном начинании поэтического кружка, известного под названием «Пятниц» Случевского.

Речь идет о создании поэтического «Изборника», по замыслу своему перекликающегося с нынешним «Днем поэзии». «Пятницы» К. Случевского были своеобразным центром писательского Петербурга 90-х годов прошлого столетия. Начало этим «пятницам» было положено еще в середине столетия Я. Полонским. В 1898 году, в день похорон Полонского, Случевский высказал пожелание продолжить традицию «пятниц». Первое собрание состоялось 1-го октября 1898 года на квартире К. Случевского. Участниками «пятниц» были К. Бальмонт, В. Брюсов, И. Бунин, П. Вейнберг, А. Коринфский, М. Лохвицкая, М. Минский, В. Немирович-Данченко, Ф. Сологуб, О. Чюмина, Т. Щепкина-Куперник, К. Фофанов и другие. Чтение собственных произведений, переводов Байрона, Гейне, Гёте, литературные споры, рефераты о творчестве писателей стали традицией собраний.

К. Случевский завел особый альбом «Пятницы Случевского», в котором записывались протоколы собраний и экспромты их участников (иногда поэтам давалось по десяти минут для сочинения на задуманную тему, и лучшие произведения помещались в этот альбом).

На одной из страниц читаем: «28-й вечер 17 декабря 1899 г. ознаменовался докладом К. Случевского по поводу письма К. Льдова¹ о возможности издания поэтами хрестоматии. Предложение было принято весьма сочувственно...»

Однако эта скудная запись отнюдь не раскрывает полного замысла интересного письма, и, чтобы понять его, мы обратимся к самому тексту письма.

«Среда, 15 дек. 1899 г.

Глубокоочтимый Константин Константинович!

...Лишенный возможности и в эту пятницу посетить нашу вольную академию художественного слова, хочу хоть поделиться с сотоварищами двумя тесно связанными между собою планами¹, — если Вы сочтете это уместным.

Если современные российские поэты, объединившиеся под Вашим руководством и гостеприимным кровом, оказываются способными задумывать и осуществлять общепользные предприятия, отчего бы им не попытаться оказать на современное общество воздействие художественно-воспитательного свойства?.. Как известно, сборники стихотворений нынешних авторов, за весьма немногими исключениями, крайне туго раскупаются публикой; но сборники коллективные из сочинений тех же писателей выдерживают сплошь и рядом по несколько изданий. Очевидно, что если поэтам в одиночку весьма редко удается «ударить по сердцам с неведомою силой», то, с другой стороны, читающее общество не совсем уже пренебрегает общею картиной метрического творчества. Но составляют ли коллективные сборники так, чтобы они давали, в самом деле, полную и верную картину современного состояния русской поэзии? Я воздержусь от ответа на этот вопрос; могу, во всяком случае, с полною уверенностью сказать, что наша вольная академия могла бы сообща дать публике такой сборник, который представил бы и выдающийся интерес и принес бы существенную помощь

¹ К. Н. Льдов — поэт, редактор газеты «Ежедневник искусств и литературы».

¹ Здесь и в дальнейшем подчеркнуто К. Льдовым.

ознакомлению с современною русскою поэзией.

По вопросу об осуществлении такого предприятия позволю себе набросать следующие беглые соображения. Следовало бы избрать для предвзвешенной работы редакционную комиссию, человек из пяти-шести; эта комиссия... выбрала бы 1) вещи, не только безупречные, но и с крупными достоинствами, 2) вещи, не страдающие недостатками, препятствующими включению в изборник — если у этих или других авторов не найдется достаточно произведений первого разряда. Составившийся таким образом черновой большой изборник мог бы быть подвергнут прочтению и голосованию на пятницах, а, сократившись до надлежащего размера, и выйти в свет с пояснением его происхождения.

Второй план, связанный с этим явно осуществимым предприятием, представляется мне еще более важным для литературы и общества. От изборника современной русской поэзии, расширив рамки, естественно перейти к поэтической русской хрестоматии, составленной также коллективно по общему разумению людей, которые ныне посвятили свою жизнь поэтическому творчеству. Не ясно ли, что такая общая редакция даст труд несравненно более авторитетный, чем хрестоматия, составленная учителями словесности? Притом такая хрестоматия будет доведена до наших дней и явится проводником для проникновения в жизнь и современной поэзии.

Изборник современной поэзии мог бы быть пополнен автобиографическими заметками ныне здравствующих поэтов, или хотя бы их сообщениями о манере творчества, что, конечно, интереснее фактических сведений. Можно бы у авторов испросить и список того, что они сами считают наиболее удачным и характерным в своих произведениях.

«И з б о р н и к» и «хрестоматия» — вот два предложения, которые я хотел повер-

гнуть, через Ваше авторитетное посредство, на усмотрение сотоварищей.

Сердечно преданный и признательный Вам
К. Льдов».

Идея создания «Изборника» была очень горячо встречена участниками «пятниц».

Однако издание сборника не состоялось. Отсутствие материальных средств помешало осуществить эту идею.

Обращает на себя внимание одна фраза письма:

«...современные российские поэты... оказываются способными задумывать и осуществлять общепользные предприятия...»

Нам удалось выяснить о некоторых из этих «предприятий».

Известно, что участниками «пятниц» устраивались публичные литературные вечера, издавались сборники, художественно-музыкальные альбомы. Все средства шли в фонд помощи голодающим в неурожайных губерниях России и на другие благотворительные цели.

Афиши литературных вечеров того времени пестрят именами А. Плещеева, Д. Григоровича, А. Голенищева-Кутузова, Ф. Достоевского, И. Горбунова, Я. Полонского, К. Случевского, которые были не только организаторами этих вечеров, но и их участниками — чтецами.

Писатели кружка Случевского были инициаторами и участниками многих общественно-литературных мероприятий. Известна их большая работа по подготовке столетнего юбилея А. С. Пушкина, издания «Пушкинского сборника».

Однако эта благородная деятельность не встречала поддержки в официальных сферах и замыкалась в кругу небольшой аудитории.

И хотя народ всегда тянулся к поэтическому слову и любил его, путь поэзии в массы не мог быть таким прямым и открытым, как в наши дни.

День поэзии 1964

М. «Советский писатель». 1964. 172 стр.

Редактор В. С. Фогельсон. Худож. редактор
Д. С. Мухин. Техн. редактор Р. Я. Соколова.
Корректоры Т. И. Воронцова, Л. Н. Морозова
и И. А. Чайка

Сдано в набор 10/VIII 1964 г. Подписано к печати
24/X 1964 г. А 09424. Бумага 84×108 1/16. Печ. л.
10³/₄ (18,06). Уч.-изд. л. 17,8. Тираж 50 000 экз.
Заказ 110. Цена 76 коп.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10

Тульская типография Главполиграфпрома
Государственного комитета Совета
Министров СССР по печати
г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109



Цена 76 коп.

советский писатель москва 1964